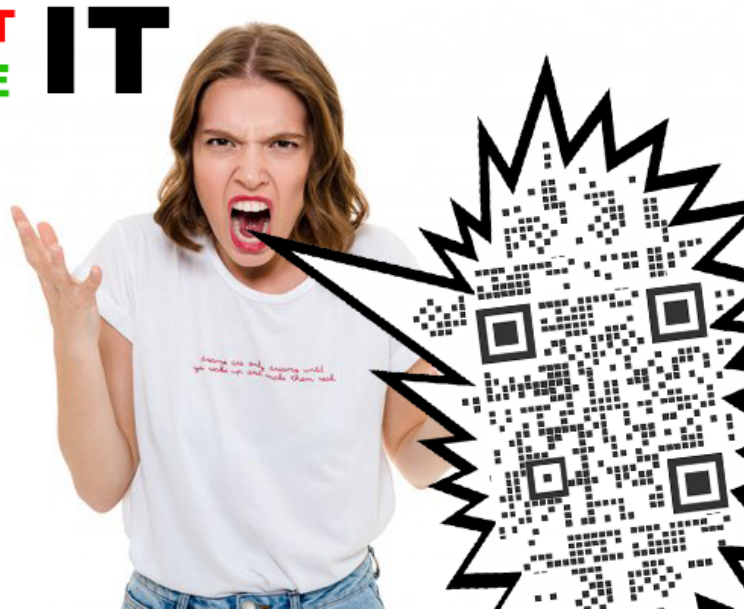
СЕРГЕЙ БОНДАРИН

ПАРУС ПЛАВАНИЙ И ВОСПОМИНАНИЙ

SHOUT
SHARE
IT



Annotation

Сергей Бондарин принадлежит к старшему поколению советских писателей. Он много видел и много пережил.

В начале 30-х годов молодой тогда журналист Бондарин получает письмо от Максима Горького, «которое определило весь дальнейший жизненный путь автора воспоминаний. Его литературная юность связана с именами таких же молодых друзей-писателей. Затем — служба в Красной Армии, Днепрострой, Магнитка, первые успехи Тихоокеанского флота, строительство Московского метро, Во время Великой Отечественной войны писатель-фронтовик защищает Одессу, Севастополь, Новороссийск, ведет дневниковые записи. Из послевоенных поездок в книгу включены рассказы о Новосибирском академгородке, о районах старинных народных промыслов.

- Сергей Бондарин
  -
  - Пи эр квадрат
  - Магнитка
  - Хлеб дружбы
  - У себя дома, на дворе и на улице
  - Севастополь в августе 1941
  - На Донском плесе
  - Игнат, мы встретимся в степи
  - Книга моряка
  - О чудаках
  - Вечер на Кижах
  - Женщина с зеленой веткой
  - Человек с камчатки
  - Академический городок
  - Воспоминания не безмолвны
  - Ямбы
  - Звенья той же цепи
  - Красный карандаш Горького
  - Илья Ильф
  - Два ведуна
  - Есть тот же дом
  - Толя Луначарский
  - В гостях у внуков
  - Кораблик Паустовского

Сергей Бондарин

Парус плаваний и воспоминаний

Дед — внукам

ГОРОДА
И
КОРАБЛИ,
ЛЮДИ,
ДУМЫ

Дело вот в чем — мне очень дороги слова древнеарабского сказания: «…ошибочно думать, будто путешествовать должно только под парусом корабля или в седле. Приходит время, и ты вправе ставить парус другой — парус воспоминаний и опыта. В этом путешествии жизнеописание наилучшим образом сочетается с познанием общего и высшего благодобра, то же можно сказать и о цели — быть понятым. На правильно избранных путях ты, друг мой, можешь остановиться не только для отдыха, но и для строгих размышлений в самом строгом, но и самом защищенном пристанище — в дому души твоей. Не было бы там только пусто, ибо и дом, и стол, на котором нет ничего, не дом и не стол, а лишь глина и доски».

Мне особенно памятны и особенно волнуют меня те встречи с людьми, которые хоть немножко и мне помогали в самом трудном деле — в деле жизни. Память об этом, мне кажется, объединяет и роднит все части этой книги, даже иную отрывочность наблюдений и беглость записок, неравномерность, разноцветность. Все имеет здесь один общий источник освещения, падающий и на законченную новеллу, и на беглый рассказ о каких-либо дорожных впечатлениях-наблюдениях, и на попытки исследования длительных, а то и случайных, мгновенных — всегда незабываемых встреч.

Веришь: под парусом воспоминаний на ходу закипает волна и приносит тебя в дом, где не пусто.

Пи эр квадрат

Нас интересовало все — и мы хотели не только видеть — хотели участвовать в преобразовании своей страны: так начались *первые путешествия*.

Крупнейшая стройка первой пятилетки — Днепрострой — волновала воображение многих молодых людей. Я хорошо помню то время. Молодые души все сильнее охватывались новыми мечтами, совершалось и росло своеобразное перемещение интересов и стремлений: пополнялись рабфаки, в студенческих аудиториях появлялось все больше молодых рабочих и крестьян, а среди юношей моего круга, городской интеллигенции, все заметней становилась тяга, романтическая тяга на новостройки, успевшие стать знаменитыми. Молодежь оставляла книгу или рейсфедер для того, чтобы хотя бы на время взять лопату на Днепрострое или узнать, что представляет из себя волшебная гора Магнитная на Южном Урале.

Не избегнул увлечения и я. В те времена в подмосковной деревне Кашино уже вертелось динамо первой сельской электростанции, в деревне Ботино уже горела «лампочка Ильича». Одесские студенты усердно переписывались с Глебом Максимильяновичем Кржижановским, он приветливо отвечал нам, его радовало, что нами организован кружок для изучения плана ГОЭЛРО. Многое как бы только приходило, как бы замечалось в первый раз — с новой силой. Как бы в первый раз, по-новому увидели мы и поняли электричество. И в самом деле, всю жизнь, как воздухом, окружены мы этим все возрастающим вокруг нас светом, но и теперь вспоминаем о нем редко!..

Кстати сказать, многого мы еще не знали из того, что теперь знает каждый школьник-первоклассник…

Тысячелетия огонь искал себе союзника, покуда электричество не соединилось с ним в совместном служении человеку. На наших глазах рядом с электростанцией становится станция атомная: к воде, к углю, к торфу присоединился невидимый и повсеместный богатырь — атом. А ведь тогда, в двадцатых годах, не только мы, студенты, но даже ученые этого еще не могли предвидеть, но мы верили и мечтали. В этих мечтаниях, в этом, как это теперь можно назвать, своеобразном «хождении в народ», была прекрасная, трогательная наивность. Вот передо мною дневниковые записи тех лет.

«Все решено, подготовлено, едем на Днепрострой! Буду арматурщиком. Надо переобучаться. Буду создавать железные

скелеты строений и наблюдать соревнование людей и материалов, людей, железа, дерева, камня, стекла. Буду одним из тех, кто строит. «Главным моим инструментом будут мои же руки!» Это — влияние века. Нужно выяснить роль железа, камня, стекла в преобразовании мира. Динамика там, где применяется железо, сталь. Там жизнь накапливает силы, как ополчение, и затем бросает их на новые завоевания. Сопротивляющиеся гибнут. А я хочу быть с победителями. Я хочу быть там, где утверждается жизнь, жизнь века.

Мне было лет шесть, когда я знал уже катехизис обязательных понятий:

— Что есть самое дорогое?

— Золото.

— Что есть самое роскошное?

— Шелк, бархат.

— Что служит признаком богатства?

— Шампанское.

— Что необходимо для приличия дома?

— Принимать гостей…

Ребенок знал, что соседи Кальницкие оказывают маме честь, приглашая нас к праздничному обеду: у них будет судак по-польски! Либерал Андреевский, бывший городской голова, при котором отец служил заведующим городским детским садом, пригласил в театр, в ложу, к своим детям. Я узнал тогда, что Андреевский не только либерал, но и миллионер.

В таком духе меня обучали в детстве пределам человеческих желаний — и это, конечно, долго мешало развивающейся склонности к независимой оценке вещей. Долго, очевидно, я не умел правильно оценить трость и лопату. Трость в руках гостя с брелоками на животе долго представлялась мне вещью более ценной и значительной, чем лопата в руках землекопа. Лопата действовала как бы в потустороннем мире, и только позже, когда широко и по-настоящему начал раскрываться передо мной мир, я понял красоту лопаты в руках землекопа или даже воткнутой в рыхлую землю. Опасность подавления детской любознательности, признаваемой в ту пору дурной наклонностью, была, как понимаете, очень велика.

И вот я испуганно вижу: есть непонимание между мною и железом»…

«Непонимание между мною и железом» — не наивно ли? Но если это и заставляет теперь, через десятилетия, улыбнуться, то это хорошая улыбка.

«Сегодня, — писал я дальше, — проходя через двор мастерской, я увидал сваленные под стеною скелеты арматурного железа. Ржавые, гнутые, возделанные рукою человека, они немножко испугали меня. Больше того — я с опасением и даже вдруг с легкой неприязнью к железу представил себе эти прутья в своих ладонях. Я прошел мимо них, как бюрократ проходит мимо просителей — с предчувствием трудностей, предстоящих обязанностей. И это — первый взгляд на вещь, которая вступит в борьбу с прежними ошибками человека! Я буду гнуть и мучить это железо… И я стал вспоминать, как часты были случаи, когда мне приходилось иметь дело с железом, хотя бы с проволокой — и не мог вспомнить другого случая: только в детстве, помнится, несколько раз с помощью знакомого мальчика чинил проволочную ручку игрушечного ведерка… А, впрочем, кажется, однажды пробовал стянуть и закрепить проволокой расползающуюся кровать… Вот — подумать только! — как редко приходилось нам иметь дело даже с проволокой, с этим самым домашним видом железа — и теперь оно мстит за все».

«В учебных мастерских вокруг меня молодежь, и многие, как и я, впервые берут в руки молоток. Они озираются с любопытством, тревогой и задором, осматриваются, как осматриваются в новой квартире: здесь, дескать, будем жить.

Мы стоим у длинных, как стойла, верстаков и бьем молотом в такт одновременно: «Раз!» — молоток взлетает к уху, «два!» — падает на стол. У девушки, работающей против меня, от каждого удара вздрагивают зрачки.

Я все стараюсь дать себе отчет, какой образ рождается при слове «строитель»…

— Он выстроил дом, он — строитель.

— Он — бетонщик.

С лесов упал рабочий.

В прежние времена, до революции, не говорили «строитель», а это был именно рабочий; каменщики, штукатуры, плотники, землекопы — это все были рабочие, пришедшие на сезонные работы кто из Рязанской, кто из Тверской, а кто из Псковской губерний.

— Он — рабочий. Маляр. Каменщик. Мостовщик.

Я мог часами стоять на солнечном пекле, наблюдать, как каменщики возводят стены или мостовщики мостят брусчаткой или дикарем мостовую. Тут все было увлекательно. И особенно лица рабочих, быстрая работа сапеткой, одним-двумя движениями выкапывающей гнезда для камня будущей мостовой, разнообразие тех или иных пород камня. Тут я впервые

присмотрелся к кружевным узорам нашего прославленного черноморского известняка, почувствовал тяжесть ровно обточенной брусчатки… И вот теперь я готовлюсь к жизнерадостному возвращению утраченных чувств. Я надеюсь увидеть доменные печи, а пока знакомлюсь с готовым железом…

Искусство арматурщика сосредоточено в его пальцах — и это тоже нравится мне: искусство пианиста тоже сосредоточено в его пальцах.

Раз, два… Раз, два… Раз, два… Мы должны достигнуть не менее ста пятидесяти оборотов в минуту. Острогубцы чуть слышно щебечут. Мне радостно от того, что вот-вот откроется мне тайна мастерства. И я улыбаюсь. И пальцы подчиняются моей воле. Такие же улыбки я ищу на лицах товарищей. Их почему-то нет…

Все непривычно, ново».

«…Летнее утро в саду, звон стаканов, доносящийся с веранды, и вдруг — Шопен — откуда-то с соседней дачи…

Пришел и пришвартовывается в Карантинной гавани первый из Испании пароход… Яхты вернулись с моря, матросы в белом, еще не все паруса спущены, и вдруг падают все паруса…

Позднее барокко Одесского оперного театра: эта красивая и внушительная архитектура выглядит по-разному — то озаренная полдневным солнцем, то в светлых весенних сумерках, когда только зажглись огни, и все тут исполнено живости — люди спешат на спектакль. Сладкая усталость после удачного футбольного матча. Горячие дебаты клубных литературных вечеров… Наконец, такие знакомые, темноватые амфитеатры аудитории номер четыре, моей аудитории, аудитории юридического факультета (не забывайте: я только что закончил курс и только-только сданы дипломные экзамены).

А вот еще можно сказать о приятном ожидании завтрашнего номера газеты, в котором должно появиться твое стихотворение, посвященное Красной Армии или плану ГОЭЛРО. Но и это волнение сейчас забыто, все уступило место другим вожделениям и впечатлениям, волнуют другие ожидания: завтра мы увидим, наконец, панораму знаменитой новостройки. Закончен не только университет — благополучно закончены срочные курсы, созданные при бирже труда для охотников работать на Днепрострое.

Мы едем в первое путешествие первой пятилетки.

Первое серьезное путешествие начато, другие треволнения и другие картины.

Первое впечатление было звуковое, и мне тогда же показалось, что очень важно это впечатление выразить, закрепить. «Ведь это же никогда больше не повторится, думалось мне, а это может быть интересно не только мне, но и другим, кто этого никогда не услышит, не переживет. Ведь это все равно, что пейзаж — звуковой пейзаж… Это нужно изобразить во что бы то ни стало».

И я старался изобразить:

«Вслушайтесь! По звукам можно понять, что происходит.

Ровно катящийся гул доносится с камнедробильного завода. Деревянные стены завода вздрагивают от тяжестей, обращающихся в дробильных машинах; гудят как бочки, катящиеся под гору. А этот порывами налетающий звенящий рокот — от перфораторов: они сверлят гранит. Обрушивается камень… Камень обрушивается на железо. Слышите? В думкары ссыпают щебень. Это всегда так. Металл всегда слышнее камня…

Издалека общий шум стройки слышался как шорох, и я долго не понимал, откуда идет он, что это за насекомые наполнили степь? А потом шорох заменился другим звуком. Точильный камень, вращающийся под топором, воспроизвел бы звук, подобный тому, общему шуму…

Как видите, здесь очень просторно. Никаких красот! Бледные берега отлоги, они как бы расчесаны прямым пробором. Вон там, выше по течению, — скалы Волчьего Гирла со струною железнодорожного моста. Там река с западного направления отброшена на юг, и здесь, вывалившись из ущелья, она широко разливается в спокойных берегах.

Однако именно здесь Днепр будет пойман.

События, происходящие на реке, полны значения: строят плотину. Самую большую в Европе.

Видите стрелы дерриков? Они снуют, как шеи гусей, отыскивающих пищу, — этот фронт дерриков определяет линию плотины: вот так она и станет, она вытянется по дуге от берега к берегу. Великий камень молчаливо овладевает руслом Днепра. Светлые массы, вторгающиеся в извечный пейзаж между синевой неба и блистающей белизной реки, с настойчивостью овладевают местом в природе. Смотрите! Вы видите на том берегу аркады? Они отжали пепельные породы берегов с такой же легкостью, с какою рука человека отодвигает ветку, мешающую пройти: там будут шлюзы.

На этом берегу плотину замкнет здание ГЭС…

Однако то, что вы сейчас видите как берега, все это — будущее дно. Стена, сомкнувшаяся на берегах с холмами и

выгнутая навстречу течению, вздует реку на сорок метров. Два уровня по сторонам плотины — верхний и нижний бьефы — перекосятся, как чаши весов.

Вообразите зрелище, когда река, встретив плотину, начнет разливаться, охлестывая подошвы скал и заливая их, переливаясь среди холмов. Кто знает, может быть, в это время будут идти дожди. Однако дороги, еще вчера размываемые дождем, будут уже под озером. А, может, дождя не будет, над наполняющимся водоемом сияет голубизна, в ней — продолговатые об-лачки. А озеро всходит. Безудержная вода зальет более полуста деревень, зальет мост на скалах Волчьего Гирла — и вдруг река, вползающая по плотине все выше, все выше, почует выход: отодвинутся щиты плотины. Перед рекою раздвинутся сорок семь щелей. Сорок семь ворот напомнят ей ее обычный путь. Сорок семь взревевших водопадов хлынут из водоема…

Скажите теперь: разве это не так же сильно, как музыка Шопена?»

Думаю, молодой человек был прав.

Хороший и милый молодой человек! Думаю, Горький имел в виду и его, когда призывал писать историю молодого человека.

Молодой человек надолго, пожалуй, насовсем оставил свой родной город и знакомые песчаные или глинистые берега лучшего из всех морей, хотя и не забывал их. Легче было забыть не успевшие укорениться в сознании логические концепции юриспруденции. Собственно, молодой человек сбежал от всего прежнего, бежал и от длительной юношеской любви, стараясь так же забыть свою и женскую нежность, взоры пристальных глаз из-под черного кружевного платка. Был ли он вознагражден? Как сказать! Ему нравилось вольное узнавание, и он спешил к перестраивавшемуся перед глазами неохватному миру человеческих отношений. Он научился угадывать нежность и доброту в иных — не только романтических — отношениях — там, где, казалось бы, не может быть и помина какой-либо нежности, восторженности, сердечности. Помню, был такой случай.

Бригадиром был грубый человек с лицом, изуродованным оспой, по фамилии Останкин.

Бригада неправильно сложила балку перекрытия.

«Большая балка — она собрала двадцать шесть пудов железа. Шесть плоскостей изгиба предохраняли ее от скалывания и провисания. Шестнадцать номеров круглого железа составляли ее анатомию. Большая и тяжелая, как рояль, она основательно стала

в опалубку, связанная вологодской вязкой.

Бригада работала над нею полсмены. А пришел прораб и обнаружил ошибку.

— Какое, — спросил он, — клали железо взамен дюймовки?

— Полудюймовку.

— Сколько?

— Два стержня.

— То-то же! Неправильно: нужно четыре.

Останкин обомлел. Останкин решил доказать, что два полудюймовых стержня составят дюйм — то, чего требует стойкость арматуры.

Инженер Антон Петрович, прораб, задумчиво и сострадательно смотрел на Останкина. Ему и самому — это было совершенно очевидно — было жалко крепкой постройки, потребовавшей полдня работы. Ни к кому, собственно, не обращаясь, он сказал:

— Будто и так: полдюйма да полдюйма — дюйм, но это арифметика, а тут дело сложнее: площадь круга требует четырех полудиаметров. Площадь круга. Пи эр квадрат. Разбирайте балку обратно.

Останкин с отчаянием повел глазами. Над балкой стояли без шапок, как над разбившимся человеком, а самый молодой потихоньку уже откусил одну вязку, за ней — другую. Иные же смотрели на Останкина вопросительно. Останкин взвыл:

— Вот тебе и квадрат! Придумают! Эх, уж чего! Ребята, разбирай!

Вещь, созданная долгим трудом, уничтожалась, возвращалось время, когда существовала лишь мечта об этой вещи.

Из сплетений арматуры тащили прутья, графическая прелесть конструкции рухнула, обвисла, перекосилась, железо рвали с тяжким придыханием.

— Ой, не могу, — снова взвыл Останкин, — рвут, как козленка из матки…

Никто не понял, что он хотел сказать, а он хотел сказать, что натуга, с какою рвут арматуру, напомнила ему другое: когда-то он видел, как из чрева козы вытягивали дохлого козленка. Коза предсмертно блеяла. Из вздувшегося чрева вытаскивали дохлые мохнатые останки. Из чрева, все еще присасывающего свой плод, тащили мясо, потея от натуги.

…Тянули и рвали железо, узкие прутья, взвизгивающие, как бич. Дюймовые стержни высвобождались солидно. Из путаницы номеров и диаметров они появлялись, не утратившие линий — такими же, какими их недавно вгоняли в балку.

Останкин причитал:

— Моя вина! «Площадь круга»! Придумал!

Он был уверен, что Антон Петрович придрался от гордого ума. Его, Останкина, здравый смысл не изменял ему ни на одной постройке. Мало ли стен возведено. И стены, и фермы, и рамы. В чертежах он сам свободно разбирается. Укладка арматуры давно и хорошо постигнута, и не к чему здесь посторонние слова…

Опять показался Антон Петрович. Остановился поодаль и наблюдал, морща губы.

— Занимались бы лучше своей арифметикой, — не выдержал Останкин. — И чего смотрите.

Антон Петрович помычал и отошел, но к концу рабочего дня пришел снова, подозвал Останкина.

— Слушай, — сказал он бригадиру, — ты как будто не понимаешь своей ошибки?

— Ну, уж чего там! Разобрали — и теперь снова складываем, как сказывали. Обидно только, зачем заставляете класть лишнее. Зачем четыре действительно, не пойму. Сожалею о балке, сожалею о ребятах, вот что!

Антон Петрович даже побледнел. Но вот он опрокидывает тачку вверх дном, берет обломок извести и на шершавом днище тачки — слово за словом — наглядно изображает свою мысль. Нарисовал круг.

— Вот, — сказал он, — дюймовый стержень. Теперь возьмем и заменим его полудюймовкой, цельного дюймового стержня у нас нет. Что получается?

Получилось, что только четвертый кружок диаметром в полдюйма грубо заполнил круг диаметром в дюйм.

— Ну вот, — сказал прораб и пристально долгим ласковым взглядом посмотрел в глаза Останкину.

Затем он разъяснил назначение арматуры: усилия грузов разорвать конструкцию и сопротивляемость железа. Все прутья участвуют в этой борьбе.

Вдруг он нагнулся и срезал с башмака конец шнурка и подал его Останкину:

— Рви!

Тот не смог порвать.

Тогда Антон Петрович подсекает ножиком эту тесемку — раз и другой — и легко разнимает ее на части. Пустяк! Простейший фокус, но у обоих — и у Антона Петровича и у Останкина, — лица вдруг подобрели, они оба улыбнулись. Наконец, Останкин сказал, конфузясь:

— Все верно. Спасибо, Антон Петрович. Все.

— Все. Пойди теперь взгляни, пожалуйста, проверь.

Балка была восстановлена, в ней снова скопились пуды

железа. Линии, предназначенные ей, протянулись точно. Она стояла, тяжелая и многострунная, похожая на внутренность рояля.

Останкин смотрел на нее, видел ее стройность, чувствовал вес, а главное, — чего не подозревал за ней прежде, — то соответствие расчету, важному расчету, о котором услышал от Антона Петровича: дюймовый прут держит на себе целый дом!

Останкин задержал людей — и Пронкина, и Митю Дергача, и пьяницу Ловцова, которого он опасался больше других, опрокинул тачку и подобрал мелок. Он занес руку над днищем, но вдруг растерялся: по доске быстро бежал паучок.

Ловцов уже засопел. Мелок обламывался. Останкин, ожесточась, готов был понести чушь, лишь бы не опозорить себя в глазах людей, как вдруг — легко и вразумительно — закончил чертеж и повторил урок Антона Петровича о площади круга. Он с уважением смотрел на свой чертеж, и его уже не беспокоило угрюмое сопение Ловцова».

Было много других случаев. Кое о чем молодой человек тогда же сообщал в своих письмах самым милым людям, и однажды в одном из ответных писем он прочитал такие слова: «Я хотела бы, чтобы ты обо мне когда-нибудь сказал так же, как ты научился говорить о своей новой работе и о железе…»

Пи эр квадрат! А может, эта математическая аксиома, точнее, именно нежелание понять ее, считаться с нею — становится причиной того, что и в судьбе человека что-то вдруг рушится и провисает, как прутья в неправильно собранной арматурной балке, — надолго, а то и на всю жизнь. Ведь не всегда встречается хороший учитель.

«Я хотела бы, чтобы ты обо мне когда-нибудь сказал так же…»

В другой раз он услышал, собственно, тот же отзыв, но на иной лад:

— Он пишет об арматуре, как о любимой девушке.

Это льстило ему, хотя еще недавно образ мыслей у него был другой — и ничего подобного написать он не мог.

И в самом деле, мыслимо ли? Теперь — через много десятилетий я читаю с улыбкой:

«Мастер отнял руку, и на его лице выразилось восхищение. Он стоял над законченной вещью.

Два часа тому назад вещи не существовало. Ее создала потребность в ней, потребность и нетерпение мастера. В срок, необходимый и достаточный, железные прутья превращались в

организм арматурной колонны, мастер осуществлял власть над материалом. Из пустоты, из представлений, из желания прикосновений, из опыта борьбы с железом, из предчувствия предмета—*из чувства мастера* — сделана задуманная вещь.

В прилежных руках все одинаково полезно.

…получились фигурки — разнообразные, как упражнение в чистописании: палочки, зигзаги, кривые с хвостиком, с двумя хвостиками, овалы, ромбы, треугольники. Всего этого требовала архитектура колонны.

Мастер размечал железо.

Он делал над верстаком движения, как портной. С мелком и метром в руках он наклонялся над прутом, и на железе, как на тесьме, отмечал какие-то точки.

Мастер гнул железо.

Он делал округлые и плавные движения, как кашевар…

Тютин — так зовут мастера. Павел Тютин.

В детстве он любил плести корзины.

…из далекого бытия пришло напоминание о родстве вещей. В руках мастера колыхнулась «змейка» — еще одна фигура арматуры. Колыхнулась и блеснула и напомнила прыжок рыбы, не то струю дождя, и вдруг он понял: то, чего он хотел в детстве, совершилось: а хотел он участия в делах природы…

Участвовать в делах природы, то есть, как это теперь понятно, в беспрерывном ее творчестве, — вот этого-то он и хотел еще тогда, когда играл с обрезками жести, цинка, с колесом, с глиной, с травою, с песком. Доступность создавать вещи и формы беспокоила и восхищала его, и он нетерпеливо шевелил пальцами с обгрызанными ногтями.

И вот он — мастер. Он самый умелый и важный: через его искусство проходит качество вещи. Именно он должен проследить и сделать ее такою, какою она задумана предшественниками: конструктором, чертежником, десятником и сортировщиком материала.

Мастер собирает конструкцию.

Рядом с ним работает его бригада.

В тепляке пахнет деревом, смесью извести и глины, железом. Во весь рост, протянув вперед руки, как садовники, подстригающие сад, заканчивают арматурщики вязку арматуры — железный скелет здания, сооружение, похожее на огромную мышеловку.

Но это — будет дом, выстроенный Павлушей Тютиным вместе с другими. Арматуру зальют бетоном. Железо получит счастливое соединение с цементом и гравием и схватит под собою мощный

фундамент…

Мастер улыбается.

Я понял улыбку Тютина, и думаю, что хорошо понял».

Ценность вещей весьма относительна. В пустыне изнемогающий от жажды человек отдаст кошелек с золотом или бриллиантами за кувшин воды. Много горя причинишь ребенку, отняв у него цветное стеклышко, через которое он видит мир преображенным, не нужно ему здесь ни пирожного, ни новой рубашонки.

Берегите это детское пристрастие, цените воображение, это— истинная ценность.

Мир вещей, окружающих человека, а тем более отбор вещей — говорят о нем самом. Но есть вещи, привлекательные для всех одинаково — и притом с возраста самого раннего. Каждый отец, каждая мать знают, как трудно оторвать ребенка от зрелища автомобиля, только что подошедшего или промчавшегося мимо. Что привлекает дитя? Загадочность вещи, воплотившей в себе быстроту, красоту и силу. В ребенке пробуждено воображение — истинное богатство человека.

Сколько помню себя, все мало знакомое или совсем незнакомое, малодоступное или совсем недоступное — пароходы, редкостные в то время автомобили и совсем нездешние фантастические аэропланы («Фарман» или «Блерио») не только владели моим воображением, появление автомобиля, в котором сидел Уточкин, или полет Пегу, совершавшего мертвую петлю над одесским аэродромом, — это были этапы развития человека. Теперь это ясно.

Были такие этапы и позже.

То, к чему я присмотрелся на Днепрострое, было пустяком по сравнению с тем, что я увидел позже — и увидел и испытал.

Об этом и идет речь, но о чем бы не пошла речь, ничто в моих чувствах не было способно заменить море, все, казалось мне, пришло с моря, от моря, из-за моря.

Сильнейшие разочарования я перенес в ноябре 1914 года, когда Турция вступила в войну против России на стороне германской коалиции. Среди ночи турецкие миноносцы атаковали одесский порт, а крейсер «Меджидие», немного не дойдя до цели, сел на банку в виду Одессы. Мальчуганы чуть свет побежали к морю. В гавани мы увидели выглядывающие из хмурой воды трубы и мачты затопленных торпедами судов. Над бассейнами порта было странно тихо, кое-кто утверждал, что в туманной дымке у берегов Дофиновки — по ту сторону бухты — он видит турецкий крейсер.

Это было не только разочарованием, это было оскорблением: Турция стала нашим врагом — до сих пор теплая и живописная страна, откуда изо дня в день привозили горы вкусных фруктов, кокосовых орехов, Табаков. Всегда в прежние времена наш город был разукрашен яркими вывесками фруктовых и табачных магазинов с изображением турка в чалме. У причалов в порту рядами стояли турецкие шаланды и фелюги. Я и сам — мальчишкой — не только ходил на дубках в Херсон за арбузами и дынями, но успел побывать на фелюге приятеля-турка Али-Ба-ба-Асмана в Синопе. Для нас, портовых мальчуганов, море служило как бы продолжением двора и улиц. И вот именно с этого времени, со времени первой мировой войны, выходы в море стали либо совсем невозможными, либо затруднительными. Но и тогда редкий день проходил без того, чтобы хотя бы с бульвара взглянуть на море, оставшееся сокровищем неизменным. Все клонилось к морю — и чувства, и речи, и стихи, и поведение. Расставшись с Одессой в начале двадцать восьмого года, я долго жил с чувством совершенной измены — иные чувства, иные речи, иные стихи — и даже не стихи, а первые попытки писать прозой. Как видите, странная получалась у меня проза.

Однако надо признать, что в ту пору подобные устремления несомненно привлекали внимание…

Здесь надо сделать еще одно, важное признание.

Тогда же, в двадцать восьмом году, в Москве, в издательстве «Молодая гвардия" готовилась к печати первая моя книга. Это была книга стихотворений — «Лирическое напоминание». Прозу для публикации я тогда еще не писал, а стихи нравились многим — и Багрицкий, к тому времени уже завоевавший в Москве общее признание, покровительствовал мне — собственно, он был редактором этого сборника.

Однако случилось вот что. И драматично и курьезно: первая книга стихов — она стала не только последней книгой моих стихов, она просто не состоялась.

Сборник был уже заверстан, но вдруг его задержали, и. когда я пришел в издательство для объяснений с главным редактором, он предложил мне, во-первых, некоторые стихотворения снять вовсе, кое-что изменить, кое-что исправить, а главное — добавить несколько стихотворений к прежним циклам — непременно на индустриальную тему.

— Так вы же прежде этого не требовали, книжка подобрана так, как задумывалась вместе с вами.

— Исправить ошибку никогда не поздно. У вас стихи о чем угодно — о море, о любви, о вашей матери, воспоминания детства. Все это очень хорошо, но нет ни одного стихотворения на

индустриальную тему. А у нас начата пятилетка, индустриализация. Нельзя обходить эту тему. Разве вы сами не хотите этого? Поэт должен дышать воздухом эпохи.

Я возразил:

— Поэт должен дышать своим воздухом, и все, что не от души, будет надумано и фальшиво.

Словом, я был оскорблен и потрясен не меньше, чем в детские годы нападением Турции. «Как так, — думал я, — навязывать поэту то, чего не говорит он сам? Разве не в этом цельность поэзии?»

Я унес гранки — и больше в издательство не ходил.

Поступок серьезнейший, определивший, должно быть, многое, и едва ли можно категорически судить меня. Во всяком случае, оправданием служит юношеская цельность чувств…

То, что казалось мне, не укладывается в стихи, начало искать выражения в прозе. Индустриальная тема зарождалась в меру того, как жизнь недавнего студента стала обогащаться новыми впечатлениями — в шахтах Донбасса, на Днепрострое, а позже — разъездами корреспондента московских газет.

И всегда я помнил эпизод в арматурной мастерской-сарае на Днепрострое, когда наш бригадир Останкин попал впросак, неправильно сложив балку, а инженер Антон Петрович не только исправил ошибку, но кое-чему научил и Останкина, и Ловцова, и нас. Долго помнил я выражение лиц одного и другого — и отличного практика Останкина и его невольного наставника. Останкин с тех пор прозывался у нас не иначе, как Пиэрквадрат.

И постепенно понималось главное: преобразования в умах людей. «Это же и есть главное в индустриализации, — сообразил я, — и конечно же, в этом заключается тема, на которую не стыдно откликнуться и поэту».

И все-таки история с Останкиным была пустяком сравнительно с тем, что я увидел позже. Я видел — и об этом расскажу, — как землекопы и арматурщики становились превосходными машинистами сложного экскаватора «Бьюсайрус», обучась за несколько месяцев «на курсах» у своих же товарищей, соседей по работе…

Это и было главное.

Магнитка

Недавно все мы прочитали в газетах обращение Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР к «Рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим Магнитогорского металлургического комбината имени В. И. Ленина».

Обращение вызвано праздником, состоявшимся на Магнитке: металлурги комбината готовились выдать двухсотмиллионную тонну стали.

Двести миллионов! Двести миллионов тонн стали! Вот уж сорок лет, как река металла, беря здесь истоки, разливается по всей стране, обогащая ее, защищая ее и совершенствуя в науках и технике. Так и было задумано. Потемнел от времени лик первой в стране ударной домны — «Комсомолка», домны номер два… Сравнялась с горизонтом степи сама Магнитная гора… А между тем газеты сообщали: «Магнитка в ожидании большого праздника. Считанные часы остались до того момента, когда из пышущего жаром мартена выльется двухсотмиллионная тонна магнитогорской стали».

Это был прежде всего праздник металлургов, но я вспомнил не только доменщиков, сталеплавильщиков и прокатчиков — вспомнил я также и бетонщиков, и горняков, первых моих друзей-приятелей на Магнитострое. Вспомнил и Яркина…

Много имен, много воспоминаний о том времени. Не все имена сохранились в памяти, но вот вдруг всколыхнутся воспоминания — и ты снова, как юноша, рад тому, что все это было, был и Яркин, человек, который помог тебе понять в ту пору что-то очень важное, необходимое для всей жизни.

Удивление перед небывалыми, часто загадочными вещами, машинами и конструкциями, вероятно, все же отвлекало внимание от главного, от людей. И у меня в записных книжках того времени много страниц отдано этим новинкам и удивлению перед ними, и хочется кое-что. передать именно в том первоначальном виде, интересно, как именно воспринималась сама действительность. Вот, например, записано — «Когда на Магнитку прибыл первый экскаватор, это был «Марион», башкиры и казаки из ближайших станиц седлали коней, верблюдов и ехали толпой, всей семьею, как на диковинное представление, смотреть и удивляться: что это за машина, «приделанная к автомобилю»!

Сейчас мой друг Яркин работает уже на «Бьюсайрусе», машине гораздо более мощной и сложной — и народ снова толпится вокруг него.

Экскаватор сгрызает грунт со скалы, как человек — остатки мякоти с арбузной корки. Содрогаясь от ярости, он забирает губою песок пополам с обломками скалы — и вдруг с омерзением выплевывает. С усов течет.

Яркин с напарником сидят рядышком в высокой кабинке п переглядываются. Как в театре — в ложе.

У экскаватора характер яростный, а у деррика — величавый. Экскаватор, как сказал сам Яркин, — дикий кабан. Деррик — верблюд.

Очень любопытна история этого «Бьюсайруса».

Когда «Бьюсайрус» прибыл на гору, американцы твердили, что надо ждать представителя фирмы, без него монтировать невозможно, взяться — значит, сломать машину.

Молодой техник Яркин предложил начальнику горы Гончаренко смонтировать экскаватор своими силами. Яркина я помнил еще по Днепрострою. Этот с виду болезненный маленький человек всегда кипел предприимчивостью. Отличный человек Гончаренко думал недолго, дал разрешение.

Уже тогда к месту монтажа огромного экскаватора ходили толпы людей. У них на глазах воздвигалось величественное стройное сооружение. Еще раз я убеждался, что нет ничего прекрасней конструктивной целесообразности форм и линий.

Работа была закончена как-то неожиданно. Однажды, когда наступило время обеда, Яркин слез с машины и вытер руки.

— Вернемся и поведем машину в забой, — сказал он своим помощникам.

Заявление Яркпна сразу стало всем известно. Перед машиной толпились и советские инженеры и американцы, поспешившие со всех участков строительства. Энергетик инженер Левин проверял на машине монтаж электрической части.

Показался Яркин.

— Ну, как? — закричал он издалека.

Левин не отвечал, молча продолжая осмотр.

— Ну, что же, — проговорил Яркин и полез на машину, — Прошу разойтись, сейчас пустим машину в ход, — и взялся за рукоятку.

Раздались крики:

— Стой! Погоди!

Левин и другие, кто вместе с ним осматривал экскаватор, начали прыгать с машины.

Все были убеждены, что сейчас машина окажется под током.

Яркин спокойно уселся, взялся за руль и включил мотор-генератор. Экскаватор качнулся, как бы вздохнул, под его

гусеницами, раздаваясь в стороны, заскрежетала рудная осыпь. Яркин повел машину прямо в забой.

Вокруг раздались крики восторга. Американцы, улыбаясь, приветственно подняли руки.

Содрогаясь и грохоча, «Быосайрус» уже опускал свой хобот с ковшом объемом в три кубических метра.

— Трудоточивый великан, — сказал о своей машине Яркин, выслушивая позже поздравления.

Вскоре на экскаваторе работала сквозная бригада из бывших чернорабочих. За короткое время закопчили практические курсы, организованные Яркиным, десятки чернорабочих, грабарей, забойщиков. В горных учебных заведениях многие преподаватели укореняли мнение о необыкновенной сложности экскаватора, и студенты, приезжавшие на Магнитку, смотрели на экскаватор с трепетом, а на Яркина, молодого техника, оседлавшего экскаватор, с восхищением. Уже прибывали новые машины. Яркин говорил своим ученикаˆ:

— Через несколько месяцев все вы станете машинистами и будете рыть гору, как богатыри. Пойдет руда. Может быть, мы с вами еще увидим, как домны выдадут стотысячную тонну чугуна, а из мартенов далеко разольется река стали. А лучшие из вас через пять-шесть месяцев сделаются механиками.

Стотысячная тонна металла. Вот, что занимало воображение Яркина и его учеников…

«А между тем тут — раскрой только глаза — еще заметней, чем недавно на Днепрострое, совершалось самое главное преобразование — преобразование умов, накопление знаний всем народом. То, что выразилось на Днепре в формуле пи эр квадрат, а лучше сказать, приобрело в этой формуле свой символ, здесь совершается шире, энергичней, потому что условия жизни и труда гораздо труднее, а замысел строительства — гораздо дерзновенней… Тут все, как на войне: в любой день у любого человека его дело превращалось в подвиг…»

Теперь, через десятилетня, ясно видно, что так и было.

Магнитка стала и для меня одним из самых важных событий моей жизни.

Машина мчалась среди полей совхоза «Красная Башкирия», давно оставив за собой Урал. Было много ястребов. Рядом с автомобилем, поджав лапки, долго летела синица, потом она метнулась в сторону. Далеко на краю косогора, под облаком, стоял верблюд. Были отчетливо видны оба горба его.

Несколько левее от дороги из-за горизонта уже поднимался дым.

Через два года на полях, лежащих налево от дороги, будет строиться новый — правобережный Магнитогорск. Единственным признаком этого будущего сейчас был большой цветной зонтик нивеллировщика, раскрытый посреди поля.

Машина выскочила на возвышенность, показала нам красный хребет Магнитки. Во второй раз Магнитная гора открылась всей панорамой Магнитостроя.

За зеркалом водохранилища, на том берегу, пестрели дома города, здания цехов. Дымились домны и коксохим. Над ними всегда дым неторопливый, важный. Трубы прокатного цеха торчали точно пучок морковок, но бросался в глаза гигантский цилиндр, покрытый свежим суриком, жирно поблескивающий, толстый цилиндр газгольдера.

Над городом и комбинатом возвышалась Магнитная гора. Еще недавно по башкирским и киргизским степям говорили, что взойти на гору в сапогах, подкованных железом, нельзя; гвозди вываливаются.

Теперь на склоне Ай-Дарлы мы видели отчетливо бетонное сооружение обогатительной фабрики. А склон самого Атача был, как морской обрыв, крутой, уступчатый, красный: горизонты рудника.

И там дымили паровозики. Гору уже съедают.

Вчера пущена первая очередь металлургического комбината.

Я спускался с горы в поселок. Впереди меня, ныряя в зарослях полыни, бежала моя собака, и я, стараясь не отставать от нее, шел за нею, чтобы не упасть в яму. Из-под ног катились-комья руды, нога то и дело зашибалась о них, как о железо.

В части горизонта небо еще сохраняло остаток вечернего света, на юге снижался за облака полумесяц. Два бронзовых рога просовывались сквозь дымные облака, озаряемые синим светом, а прямо передо мною подымалось громадное полыхающее зарево.

Я вышел на ровное место, и сейчас же источник зарева открылся моему взору: факелы коксового и доменного цехов пламенели высоко, великолепно.

Я остановился.

Факел коксохима был багрово-бурый, доменный — оранжевый.

Замечали ли вы, что можно смотреть и смотреть на пустыню, море, на волны. Это никогда не утомляет. В кино, на экране не происходит ничего, видишь только бег волн или прибой — и снова можно смотреть и смотреть, сколько угодно. Так же влекут и волны дыма, пламя, облака на закате…

Над коксовыми печами дым всходил стеной, не клубами*

Поднявшись, измазывал собою небосклон, быстро истощая багровый цвет, а где-то в глубинах дыма вдруг вспыхивали отдельные факелы, вырывались из батарей; вся эта дымно-огненная масса, вздуваясь и опадая, беззвучно полыхала.

Узкий оранжевый факел домны был ярче, длинней и уже. Он стоял таинственным знаком, говорящем нечто большее, чем только то, что из домен выдают чугун. В светлых клубах дыма пробирались тоненькие, как прожилки, струйки черного.

И тут же начала свою первую выдачу четвертая домна — такой же светлый, клубчатый дым и оранжево-белый факел взвился над нею.

Рогатый месяц скрылся. За темною степью еще держалась, размывая черноту неба, блекнувшая полоса позднего вечера. Над горою небо было уже совсем темное…

Неспроста запомнил я этот вечер, долго буду помнить его — и вот почему: именно в этот вечер домны достигли выплавки в тысячу двести тонн чугуна — по триста тонн каждая из домен.

Это я и наблюдал с горы.

И поэтому, да еще потому, что я люблю тишину, не хотелось уходить с горы: едва доносился шум газодувок из доменного цеха, и где-то в травах, пробивающихся среди лома руды, трещал кузнечик.

Обширный пруд перед плотиной, дробильный и обогатительные цеха с их гремящими сложными механизмами, обновленный парк экскаваторов и электровозов на руднике, заменивших прежние паровозики, вторая, третья и, наконец, четвертая домны, изливающие огненный чугун, мартены, десятки тысяч людей, первые трамваи, — все это появилось позже, а когда я в первый раз посетил Магнитку, я вместе с другими видел или, вернее сказать, изображал ее будущее больше по планам и синькам, с которыми нас охотно знакомил начальник Магнитки Завенягин.

Однако не всем новоселам на Магнитке была дана такая счастливая возможность. Тысячи молодых людей жили здесь по-другому.

Истекал седьмой месяц со времени вступления в силу договора между американцами и Москвою, а ход дела внушал серьезное беспокойство: строительство небывалого размаха требовало разнообразных, опытнейших специалистов, а глава американской строительной фирмы старый Мак Ки, избегая лишних расходов, не привлекал новых и нужных людей.

Темпы на строительных участках падали, накапливались

ошибки. Особенное беспокойство внушал участок плотины, участок важнейший.

Об интересных событиях на этом участке и пойдет речь.

Проект плотины был разработан в Америке прославленным профессором Вильямсом. Предложенная им конструкция решала задачу смело, уверенно и изящно, но при этом забывались особенности края.

Раннее наступление холодов в Зауралье нарушило все планы работ и все расчеты железобетонной конструкции.

Между тем вода Урала, собранная при помощи плотины, должна была дать жизнь всему строительству и будущему комбинату, с этого толчка все начиналось.

Во многих бараках и землянках «Шанхая», как прозывался здесь своеобразный табор новоселов, было жить трудно, было худо: рамы едва держались на гвоздях, потолки текли, а люди из-за нехватки воды подолгу не мылись, не было кипятку. С наступлением ночи после июльского степного зноя, оттуда же, из степи, несло холодом, как из огромного погреба. Спать ложились впотьмах — штаны под голову — и захрапел. Немногое роднило землекопов, бетонщиков и плотников с новой чужой и дикой землею. Нередко в темноте барака слышался женский плач.

Молодежь осваивалась быстрей. В молодежных бараках было больше порядка и чистоты. Тут селились недавние красноармейцы, вносившие свои привычки. И молодым нравилось жить с демобилизованными; им казалось, что жизнь у них, как у красноармейцев, военная. Тем более, что Наркомвоенмор обещал прислать на Магнитострой палатки.

Было так и в четырнадцатом бараке, где поселились Поух и Рыбаков, бетонщики, приехавшие схода с Днепростроя.

С каждым днем крепло ощущение полноты жизни. То обстоятельство, что молодые люди заехали так далеко, их не смущало, а даже нравилось и льстило им: если комсомол послал их так далеко, оплачивая проезд, значит, тут предстоит незаурядное дело. Это сознание возвышало Поуха и Рыбакова в их собственных глазах. Но сначала, после кипучего Днепростроя, им здесь показалось скучно.

Больше того. Рыбаков даже усомнился, не обманывают ли их? Степь, пыль, дичь, верблюды и орлы — и никакой плотины, похожей на мощную бетонную дугу на Днепре… В райкоме комсомола он возроптал.

— Я хочу претворять генеральную линию, а тут у вас — что? Нет, товарищи, отпустите.

— Так мы же здесь и претворяем, — убежденно ответили и

ему и Поуху, — Глядите.

Диаграммы, цифры, вырезки из московских газет украшали помещение. Рассудительный Поух внимательно всматривался и вчитывался. Рыбаков всегда и безоговорочно подчинялся ему.

Дружба у них была давняя, а в бараке они подружились со старым плотником Волковым, который успокоил друзей окончательно.

Старый плотник Волков наотрез отказался менять свои нары после того, как прежние сожители освободили помещение для молодежной бригады. И что же? Сжились со старым чудаком. Молодежь не возражала. Даже получилось как-то особенно хорошо и уютно: живет себе старичок со стареньким своим котелком, с жестяной коробкой для табака и протертым полотенцем. Старик не брюзжал, был приветлив. Поуху и Рыбакову нравилось вести разговоры с Волковым на равных, а старик жизнь знал и умел красно говорить. Особенно запомнилось Поуху, как Волков выразился о Магнитострое: «Ты это запомни, — сказал старик. — Что сейчас затеете, тем и будете жить впоследствии. В какие ворота войдете, то и увидите. Как в сказках. Если плотина выйдет хорошей, значит, строили ее хорошие люди».

Эти слова Поуху запомнились.

Самолюбивое чувство пользы, приносимой его трудом, развивалось у Поуха по мере того, как наполнялись бетоном все новые и новые секции плотины.

Плотина уже приобретала предназначенные ей формы, но до завершения дела было еще очень далеко. А заморозки по ночам между тем становились все чувствительней. Уже становилось холодно без теплых портянок.

За поймами Урала, далеко-далеко, перемещались клубы белого дыма — там была новая железнодорожная станция. (Очевидно, пришел поезд.)

Тучами носилась над степью горячая пыль. По цвету пыли судили, какие материалы завезены на строительство: красная — кирпич, голубовато-серая — цемент… А над рыжей, железомагнитной горой Атач в ярко-синем небе медленно перемещались снежно-белые круглые облака. Доносились с горы глухие взрывы, к облакам подымались стаи запоздалой встревоженной дичи.

Сразу же после только что закончившегося XVI съезда партии на строительство прибыл новый начальник плотины инженер Степанов. Еще не все видели его, а уже все знали, что сказал он на собрании инженерно-технических работников.

— Зачем же мы приехали сюда, — так говорил Степанов на собрании, — если мы не способны сделать то, чего от нас ждут? Всех людей заменить нельзя. Гораздо важнее — поднять пятнадцать тысяч человек строителей до высокого, истинного, строгого осознания своего дела. Партия подтверждает опять, что темпы и кадры решат все.

И к удивлению скептиков (подобных мастеру Гарвею) темпы ускорялись изо дня в день. Сжимались сроки для плотины. Важно было избежать постройки тепляков и закончить бетонные работы до настоящих морозов. С конца декабря срок окончания постройки перенесли на десятое ноября. На все сомнения Степанов отвечал одно:

— Увидите, как весело люди будут ходить через несколько дней, с какими веселыми глазами! Вы не узнаете самих себя!

Замысел Степанова был простой. Он подсказывался самой жизнью страны — ежедневно, на каждом шагу. Все в стране было в движении, все воодушевленно, все воспламенялось от одного верного прикосновения, и здесь тоже нужно было высечь искры, показать яркий пример успеха, хотя бы на участке одной бригады. «И это несомненно подымет других», — думалось Степанову.

Присмотревшись, он остановил выбор на бригаде Алексея Поуха.

Бетонная лавина валилась в опалубку быков и пролетов.

Бетон сорокаградусного нагрева дымился,

От бункера слышался голос Поуха:

— Время скоро двадцать три. Я был на втором участке и замечаю, что они стараются выполнить раньше нас, а потом доставить к нам остачу, другими словами — позор. Им осталось сорок замесов. Сколько у нас?

— Пятьдесят шесть, — отвечал Рыбаков, работавший у мешалки.

— Беда, ребята, беда!

Поух огляделся. Технический руководитель американец Старк работал, не отставая, вместе с бетонщиками. Были тут и другие американцы — мистер Сольц, проектировщик опалубок Давидсон. С увлечением работали лопатами спортсмены американской колонии геодезист Дуй и механик Кварц.

Бетонная каша выливалась всюду, где только оставалась щель. Эстакада, мостки, доски для опалубок — все было забрызгано серо-зеленой массой. Под ногами скрипело, как на сухом песке. Оглушительное грохотание бетономешалок и шипение паровозов, подающих пар для прогревания бетона, вынуждали людей кричать во всю глотку, а ежеминутно

несущиеся вагонетки заставляли то и дело уклоняться от удара. Паровые молоты вколачивали последние шпунты. Бетонщики шли по пятам за арматурщиками, нагоняя их, завязывая арматурные пруты вологодской вязкой. Шум бетонных обвалов заглушал звенящий шелест кусачек-щипцов, перекусывающих проволоку.

Старк успевал следить и за температурой замесов и за тщательностью увязывания арматуры.

В бригаде любили этого долговязого веселого американца, встречали его приветливо. Бетонщики то и дело выкрикивали:

— Ол райт, мистер Старк, — все, что они знали по-английски.

— Ол райт, — отвечал Старк, — ол райт!.. — И добавлял: — Давай, давай, — все, что знал американец по-русски.

И сбросив полупальто, он погружал в бетон градусник, постукивал о край вагонетки, весело подмигивая.

Ему отвечал плотник Сольц. Дело в том, что Старк побился об заклад — десять против одного — с Давидсоном, что бригада Поуха одержит верх над правобережниками.

И вот соревнование берегов вступило в решающую фазу.

Тем временем пошел снежок. Чистый снежок сыпал, озаренный лампами, точно светом уличных витрин, и в этот час ночной смены вся плотина — с эстакадой, бегом вагонеток, снованием людей — стала похожа на шумную улицу в зимнюю ночь.

К каждой бетономешалке вместо четырех, как обычно, человек стало двое; все взялись за лопаты. Взмахи лопат учащались.

Татарин Нагимов, великий силач, развлекавший людей в бараках тем, что подымал левой рукой стол или лавку, один взялся за вагонетку. Он катил ее без помощи крючкового — и выражение лица у богатыря было такое, как будто у него в руках не тачка с бетоном, а коляска с ребенком.

Кому-то не хватило лопаты, где-то подрались.

— Ты рвач, вот что, а не самодеятельный ударник! — кричал один. — Отдай лопату.

— Я рвач? Ах ты, заячья губа!

Обиженный уже замахнулся было вновь отвоеванной лопатой. Старк бросился между ними. Долговязый чудак прыгал без шапки, без пиджака между разгоряченными спорщиками, как судья на ринге.

— Финиш! — кричал он. — Донт луз тзе тайм — не тратьте времени!

Но спорщики, не понимая американца, решили, что он

побуждает их к боксу — и сбросили телогрейки. Вмешались спортсмены Кварц и Дуй. Усмотрев беспорядок, спешил сюда Степанов, сам разгоряченный, с блистающими глазами, в желтой кожаной фуражке, в кожаном реглане!

— Э-ге-ге! Что это вы! Поух, что у тебя происходит? На правом берегу подают последние вагонетки!

— Да разве это ударники, — досадовал Поух. — Завелись, как невестки со свекрухой.

И как раз в этот момент раздались крики: «Кончили, гляди, кончили!»

Все перекрыл истошный крик:

— Катят!

Это прозвучало, как отчаянное: пожар! горим!

Поух мгновенно все понял, что-то оборвалось в нем. По выражению его лица все понял и Степанов.

Поух смотрел в ту сторону, откуда по эстакаде с веселым громом катилась вереница дымящихся вагонеток. По сторонам, как древние воины за боевыми колесницами, с видом победителей бежали бетонщики правого берега. На передней вагонетке, как боец времен гражданской войны, стоял во весь рост парень в распахнутом полушубке, в буденовке, размахивая лопатой и что-то крича.

Левобережники бросились наперехват.

— Куда?

— В чем дело?

— Стой! Поворачивай! К матери вас и к черту!

Все тщетно: правобережники, докатив вагонетки, уже опрокидывали их в бункера.

— Давай, вали! — кричал парень в буденовке. — Денег не требуем, — и остервенело работал лопатой.

Бетон тяжело сползал в опалубку. Вокруг неожиданных победителей собралась толпа. Шумели, удивлялись. Весело пылал на лицах победителей огонь задора, тут замечались добродушная усмешка, горделивость, там, на других лицах — растерянность и обида. Слышались то бойкая шутка, то несдержанное ответное словцо.

Опалубка наполнилась до краев.

Столпилась вся смена.

Переводя дыхание, еще не совсем понимая, что произошло, озирался Старк, его соотечественники горячо о чем-то спорили, а мистер Давидсон, развеселясь, поблескивал глазами. Да, Старк проиграл…

Вперед вышел Поух.

— Ладно, — резко начал бригадир бетонщиков левого

берега. — Пусть будет так. Я не против.

— А что ты можешь против? Теперь утрись, Алеша.

— Да ладно… Сколько влили?..

— Семь.

— Семь вагонеток влили. Ладно. Это мы замечаем, это наш должок, — и, оглядевшись, обратился к своим: — Хлопцы, слушайте сюда! Свое дело мы сделали, хлопцы. Кто дал толчка? Мы дали толчка. Я уже имею для бригады благодарность от начальника плотины Андрея Петровича Степанова. Андрей Петрович самолично подтверждает. Кстати, будет мануфактура и сапоги, — И Поух опять обернулся к правобережникам: — Не останемся и перед вами. Влили семь? Имеете завтра четырнадцать. Ничего. Мы знаем, в какие ворота идем…

В ту же ночь Старк писал письмо своей жене, насвистывая мотив старинной и любимой песенки:

Да, мой друг, здесь не растут бананы.
Бананов нет у нас…

«…Ты знаешь ответ на вопрос, почему я избрал карьеру строителя: я стал строителем потому, что «Индастриал билдинг кампани» предложила мне два доллара пятьдесят центов, это была самая большая плата, на какую я мог тогда рассчитывать. Доктор Вильямс, профессор Массачузетского технологического института, посвятил меня в романтику бетоностроения. Я последовал за мистером Вильямсом на Большие Озера, где он тогда проектировал плотины, и там одна неблагоразумная девушка вышла за меня замуж и побудила меня занять место производителя работ… Мистер Мак Гарвей, начальник цеха строительных материалов, любезно помог мне в ту пору уяснить выгоды, какие можно извлечь из бетоностроенння, как профессии. Мы много поработали и много выстроили в то время.

Но никогда прежде я не испытывал удовлетворения более полного, чем сейчас, когда я помогаю строить завод у Магнитной горы. Тут я понял многое, что необходимо понять мужчине. Я жалею, что здесь нет нашего старика Вильямса, его проект плотины претерпел большие испытания. Но в конечном счете Вильямс был бы удовлетворен. Его проект реабилитирован. Реабилитирован советскими комсомольцами. Да, это так.

Мы видим урок настойчивости, оптимизма, видим, что значит молодость страны.

Что же происходит? Я не уставал искать способ облегчить свои сомнения по поводу вынужденного выбора карьеры. Теперь здесь все мы, кому это доступно, переживаем свою вторую молодость. Полным сердцем я чувствую удовлетворение: я участник полезного и прекрасного.

Чувство общего дела — вот что характеризует труд в этой стране. Сменяются руководители, вспыхивают и угасают страсти, которые казались решающими, — предприятие задумано шире и убедительней, чем интересы и убеждения отдельного человека. Дело становится достоянием каждого, хозяином предприятия — весь народ.

Вот таинственный ключ ко всему: творческое усилие окупает недостатки техники.

Творческий энтузиазм поднимает на высоту каждого из нас.

Люди не могут оказаться более интересными, а дела более романтическими. Нельзя не симпатизировать этой стране… И когда я вернусь к нашим берегам, я расскажу тебе о женщинах, помогающих своим мужьям жить и чувствовать…

Всегда я буду тосковать по удивительной панораме. Я любуюсь ею из окна своей комнаты, а иногда — с вершины холма, поднимающегося над Магнитостроем, с холма, сложенного из железа, с холма, привлекшего сюда чудные силы и обреченного на то, что его съедят машины. Через несколько лет горизонт и степи вокруг этого холма прикроет огромный металлургический завод, город, дымы города и завода. Посредине степи сверкнет озеро, образованное при помощи нашей плотины… Это будет уже скоро. Мы все — плотник Сольц и Давидсон, их почтенный русский коллега Волков, друг мой молодой бетонщик Алеша Поух, наконец начальник строительства плотины инженер Степанов, — все мы верим, что наше вдохновение не напрасно…

Мистер Гарвей сожалеет, что поторопился выписать сюда свою семью и теперь, кажется, отменяет этот план. Я сожалею о том, что я не могу этого сделать сейчас. Но ничего. Мы это все-таки сделаем. Мы обязательно сделаем это вдвоем. Под старость мы обязательно еще

раз приедем сюда. Что-то будет здесь тогда, лет через двадцать пять?»

Лампочка, освещающая барак, висела низко над столом, обернутая порыжелою газетной бумагой.

В бараке было еще малолюдно: ночная, третья, смена ушла, вечерняя смена Поуха еще не вся сошлась. Каждый новый человек вносил с собою мороз. Двери закрывались со стуком и захлопывались тяжестью камня, подвешенного на ролик. За этой тяжелой дверью порхал бесшумный снежок, невидимый, покуда ветер или человек не заносили его в сени вместе с грохотом отдаленных работ.

— Снимай сапоги! — кричали вошедшему. — Натопчешь…

Волков работал в дневной смене, но он уже знал о неудаче, постигшей бригаду.

— Такое дело смазать! Обидно, разумеется, — бубнил старик у себя на нарах, перебирая в полутьме завтрашние талоны на хлеб, на постное масло, сахар. — Плотина — это большое дело…

Вошел Поух. Обычно верхнее платье оставляли в раздевалке. На этот раз бригадир вошел, не снявши робы, забрызганной бетоном, и устало сел на свою «бригадирскую», единственную в бараке отдельную койку — в углу. Койка скрипнула.

В бараке все затихли.

Замолк и старик, только погромыхивал котелком.

— Ну, что же, — сказал наконец Рыбаков, — И мы выложили немало — сто сорок кубов. Так. Завтра дадим двести да еще на правый берег завезем… ей-бо… По-ихнему, ол райт. А долговязый — как давал!

Это воспоминание развеселило ребят.

— А они ничего, ей-бо!

— Говорят, у них корову электричеством доют, а курица сносит — и тут же сразу цыпленок.

Опять громыхнул смех. Народу прибавилось.

— Ты не журись, Алеша, — утешали Поуха, — Ол райт! Какие сапоги — брезентовые или кожаные?

— Обидно все-таки, — пе успокаивался Поух. — А сапоги я видел: хорошие, не хуже козловских.

— Обидно, разумеется, — согласился Волков, сползая с нар. — Такое дело смазать, ах, черт бы побрал, туда ваши кишки!.. А сапоги, разумеется, если уже дадут, так хорошие. Как же иначе.«

Старик выразительно поглядывая на стол.

На столе, тщательно выскобленном, о чем немало заботились

девушки из соседнего барака, блеснула ученическая чернильница, рядом со скобленой ручкой для пера лежал недописанный листок бумаги, прижатый волковским чайником.

Уже несколько дней, по вечерам, в свободное время, старик диктовал, а Поух писал большое письмо. Диктуя, старик волновался, дело двигалось медленно, и потому писать было скучно, скучнее, нежели бетонировать. Как и полагается, после длинных приветствий старик сообщал в письме о своем здоровье и тщательно расспрашивал о здоровье родственников и знакомых. На это ушло больше двух дней воспоминаний и соображений. Потом старик в самом сжатом виде описал барак, не поскупился похвалить Поуха и других молодых соседей, еще дальше писал о своей работе:

«…Делаем мы копры, опалубки, бетономешалки и бункера, по тридцать шесть упряжек бывает у нас на человека заместо двадцати пяти в месяц. Но я не скажу ничего, обиды на чужой стороне у меня нету, знают меня теперь даже в редакции. Через газету «Магнитогорский рабочий» меня объявили ударником. Итак, среди других все знают плотника Волкова, прославленного на Магнитогорске, и я, можно сказать, этим доволен…»

Вот тут-то Волков и норовил подступить к самому главному, что волновало его и ради чего он сочинял письмо, а диктовка как раз на этом оборвалась.

Не без корысти, следовательно, Волков старался утешить Поуха, вернуть своему приятелю хорошее расположение духа:

— Ты верь мне, Алеша, завтра обязательно перешибешь их, — заключил Волков и приступил к делу: — А спать, Алексей, будешь? А? Я, видишь ли, уже надумал. Надумал я тут, видишь ли, выписать к нам на Магнитку свою старуху. Пущай живет здесь. А, может, и мой сын Мирон приедут с невесткой.; А как же! Как же иначе? Город, разумеется, мы построим, значит, должны быть и обитатели… Если не спишь, может, напишешь, Алеша?

Поух, еще не сняв сапог, уже дремал, сидя па койке. Тепло разморило его, а говор убаюкивал. Уже сквозь дрему слышал он: старика. Казалось, что когда-то уже было так: старик говорил, а он слушал сквозь дрему, сидя на койке.

Не решив еще — писать ли письмо дальше, ложиться ли спать, Алеша начал стягивать сапоги — ив этот момент опять и особенно резко стукнула дверь, и тут же в сени живым роем влетел снежок, и тут же послышались сирена и удар в колокол.

— Пожар! — закричали со двора, и уже били в рельсу, подвешенную в сенях.

— Опять, — уныло проговорил кто-то на парах, — нет покоя…

Однако проявился и здесь неунывающий балагур:

— Присматривай за сундучками! Дед Волков! Прячь подале талоны на сахар!..

Волков и в самом деле озабоченно засовывал талоны за пазуху.

А уже все было в движении: кто надевал тулуп, бушлат, кто, разбуженный шумом и беготней, очумело вскакивал на нарах и искал свою одежку. Не до письма — и дед Волков, схоронив продовольственные карточки, шарил под нарами, искал валенки:

— Вот несчастье, — ворчал старик. — Что ни ночь — пожар. А все курят на нарах, туда их кишки…

— Выходи к четвертому бараку! — кричал Поух от дверей. На его же обязанности было руководить бригадой при пожарах.

Двери остались распахнутыми, снег у порога уже утоптали..

В охлажденном бараке вдруг стало безлюдно, лампочка, обернутая пожелтевшей бумагой, качалась над длинным чистым столом, ветер шевелил лист бумаги, прижатый чайником.

Река пошла пятнадцатого апреля, а в мае — рыба, зимовавшая в верховье.

Надо думать, рыбьему удивлению не было границ. В местах, где в прошлом году и многие годы прежде просвечивали мели, над водою стояли камыши, теперь нарастал большой, глубокий, все прибывающий пруд. С каждым днем отодвигались берега, уровень воды подымался.

Поперек пруда, смыкаясь с берегами, слившись с дном и уходя далеко за поверхность, стала стена. Окуни и караси тыкались и осматривали стену в упор. Плыть дальше можно было только через загадочные и неудобные проходы.

Водоем наполнялся почти два месяца. Достигнув своего горизонта, зеркало пруда стало. Плотина приняла на себя страшное давление искусственного водоема.

Магнитогорский металлургический комбинат мог строиться дальше, жить, развиваясь, выполнять свое назначение.

Знатный плотник Волков ожидал с семьею переселения из барака на новую квартиру. На Магнитку приехал и его сын Мирон.

Теперь много людей прибывало на Магнитку, о которой было слышно по всей стране.

Много нового и интересного начиналось в недавно безлюдной степи, на берегу плодоносной реки Урал, у подножья горы.

Менялась жизнь и у тех людей, которые были здесь среди

первых.

Вот Поух — что сказать о нем или о его друге Рыбакове? Поух работал на коксохиме, нетерпеливо ожидая осени: его вместе с Рыбаковым направляли в Свердловск учиться.

Там же, на коксохиме, продолжал трудиться Степанов, славный человек и отличный инженер.

В редкие часы отдыха Степанов любил гулять у плотины. Тут было просторно, светло и тихо. Через гребенку переплескивала вода. Играл и светился широкий пруд. У плотины взад и вперед похаживал часовой…

Однажды Степанов встретил здесь Поуха и Рыбакова. Юноши стояли внизу на бетонном флютбете. Закинув голову и морща свой толстый нос, Поух внимательно осматривал арку за аркой и при этом пошлепывал ладонью по шершавой поверхности бетона, как по крупу коня, а Рыбаков обстукивал бетон пальцем, точно врач больного. Приближение Степанова они не слышали.

Степанов, не дойдя до них, остановился.

— К чему прислушиваетесь? — спросил он.

Поух и Рыбаков дружно обрадовались:

— А, здравствуйте, Андрей Петрович. Гуляете?

— Тут хорошо. Тихо. Я здесь часто гуляю.

— А мы не всегда. Работаем теперь на коксохиме.

— Слышал, едете в Свердловск?

— Да. В техникум.

— А свой участок помнишь, Поух?

— А как же. Здесь же он и был, Андрей Петрович, — восторженно отвечал Поух. — Знаете, Андрей Петрович, — продолжал он, — не забуду, что сказал один старик — помните Волкова? — «Вот Поух, если плотина выйдет хорошая, значит, ее строили хорошие люди».

— Выстроили, — коротко согласился Степанов.

— А как же иначе! Знаете, Андрей Петрович, выстроили и не заметили. Как-то утром пришли — вокруг иней, а она уже стоит…

— А работали — гудело, — сказал свое и Рыбаков. — Не то что на Днепрострое, а все-таки.

Степанов, промолчав, улыбнулся, хотя и в самом деле заново почувствовал и он что-то близкое к удивлению: стоит плотина, сверкает пруд, переплескивает через гребенку…

По ту сторону пруда медленно подымался темный дым, и не всегда можно было понять, где дым, а где — клубы пыли.

Доносились оттуда грохот и скрежетание металла, были видны наполовину собранные каупера двух первых домен, а сами печи круглые, как самовары, замысловато оплетенные газопроводами, и высокое здание ЦЗС с пучком конусообразных

труб, опрокинутых острием книзу, и железный скелет будущего мартена и — еще дальше — разбросанные по степи поселки, и красный, как бы накаленный солнцем Атач с зеленеющей у подножья березовой рощей, с крышами поселка.

По твердым склонам Магнитной горы уже намечались ярусы открытых забоев, иногда блестели железнодорожные пути, курились дымки рабочих паровозиков: гору начинали съедать. Оттуда слышались беспрерывные взрывы, и с каждым взрывом подымались в синее-синее небо поредевшие стаи диких птиц.

Такая история…

У нас было иначе, мы свободно знакомились с планами великих преобразований и заодно — друг с другом, и вот тут-то, еще слабо сознавая происходящее, я, собственно, и приблизился к берегам того материка, о котором понаслышался и задумывался все серьезнее.

Во многих сказках люди отправляются на поиски клада, или красавицы невесты, или волшебного цветка, или доброго духа. Сильна потребность человека в подобных встречах. Иногда такие встречи бывают случайно: помните? — корабельщики плывут по морю-океану и вдруг — незнакомый остров с теремами.

Пушки с берега палят —
Кораблю пристать велят…

Что ожидает отважных мореплавателей? Ограбят? Убьют? Нет, оказывается, их ожидал добрый царь Гвидон…

В свое время по равнинам России из монастыря в монастырь ходили калики-перехожие, ходили пытливые люди к Льву Толстому, к Иоанну Кронштадтскому… Не исчезает, думается мне, потребность в романтических поисках и в добрых встречах и для душ, освобожденных от религиозного самообмана. Наша действительность доказала это наглядно. Потребность эта только сильнее в сочетании с устремлениями революционного народа, потому что она служит добром, делом другим людям — и ближнему, и дальнему, как говорил Ленин. Истина разыскивается не в монастырской глуши, не в уединении, а на тех стыках, на тех высоких уровнях, где жизнь закипает.

Никогда не устану говорить о том, как мне повезло уже в ту пору, когда счастливая молодость свела меня в Одессе с прекрасными людьми. Но тогда все-таки это оставалось делом домашним, праздничным и даже беспечным — вроде успеха в спортивных соревнованиях. Многое ускользнуло — и чувства, и

слова, и целые речи…

На Магнитке мне еще раз повезло. Моими соседями — товарищами по общему делу, а позже и многие из них навсегда стали моими друзьями — оказались люди, имена которых не одному мне были знакомы по литературе: Виктор Шкловский, Борис Кушнер, Виктор Перцов, Николай Москвин, Софья Виноградская, Василий Гроссман, Исай Рахтанов, давняя моя приятельница — Танечка Тэсс.

Хлеб дружбы

Нечего говорить, как важно писателю найти тему, пробуждающую его душевные силы. И это вдвойне важно для писателя молодого. Нередко такая находка определяет его взгляд, его труд на многие годы вперед. А, скажите, может ли не привлекать поэта и художника картина жизни народа, наблюдение за тем, как эта жизнь меняется на глазах.

Об этом мне рассказывал когда-то Бабель.

— Если хотите видеть страну, которая многому вас научит, поезжайте в маленькую Кабардино-Балкарию. — Говорил он назидательно, и в его тоне чувствовалось непреходящее удивление перед тем, о чем он говорил. — Часто в малом лучше рассмотреть большое. Поезжайте к людям, которые и меня покорили: энергия, умение понять пользу и красоту революционных преобразований удивительные!.. Словом, поезжайте туда! Если хотите, я облегчу вам первое знакомство.

Было это в начале тридцатых годов, и мы знали, что Бабель частенько уезжает на Северный Кавказ, что там он подружился с Баталом Калмыковым, чье имя тогда часто встречалось в многочисленных газетных и журнальных очерках, посвященных Кабардино-Балкарии. «Новое увлечение, — думали мы, — новое колоритное лицо, герой!» И вероятно, догадки эти не были ошибочными. Все, что было воистину новым, примечательным, интересным, колоритным — неизбежно привлекало внимание Бабеля. Не хватало сил, чтобы полностью, как хотелось, вдохнуть воздух страны, не хватало свойственной ему ювелирной тщательности и терпеливости, чтобы хоть частично сделать то, что казалось необходимым, не доставало необходимых привычных удобств и времени, и он часто и надолго прятался не только от редакционных звонков, но и от уютных разговоров с друзьями, чтобы успеть сделать хоть что-нибудь. Тем большим праздником для каждого из нас, его младших товарищей и земляков, была встреча с Исааком Эммануиловичем, возможность поговорить с ним, а может быть, и пройтись по Москве, что и сам он любил.

Вот почему Бабель не всегда открывал тайну своих новых и часто меняющихся адресов, а тем более не сообщал адрес той «пещеры», где оп уединялся для работы. Чаще всего, конечно, это были квартиры его многочисленных друзей. В ту пору, о которой я рассказываю, он еще не имел своей постоянной московской квартиры.

Так и на этот раз он пригласил меня в чью-то квартиру (хозяева, по-видимому, были в отъезде) на Покровке в Машковом переулке.

Я пришел в точно назначенное время. Бабель встретил меня строго, но благожелательно.

— А где же самовар? — попробовал пошутить я.

— Самовар остался в Одессе на Ришельевской, — серьезно отвечал Исаак Эммануилович, — займемся делом.

Для меня уже был приготовлен пакет, сверху лежало письмо.

— И письмо, и журналы передайте Калмыкову, — начал Исаак Эммануилович. В его планах и советах все было обдумано и взвешено, и я понимал, что он старается и меня заинтересовать личностью человека, с кем мне предстояло познакомиться.

Опять немало интересного слышал я в те минуты об особенностях времени, пробуждающего энергию и в тех странах, и в тех краях, где прежде предпочитали видеть только восточное расположение к неге, а в лучшем случае — к духовному самосозерцанию.

— Горы есть горы, — говорил Бабель. — Вы их увидите, если, как говорите, вы там еще не бывали, а земля есть земля: почва. Опа должна плодоносить. Иногда человек держит в руках солнце. Хлеб — это солнце. И вот это там поняли. Вы и увидите, как человек держит в руках солнце, держит, передает другому. И дети там уже будут рождаться с этим новым сознанием… Поезжайте, увидите все. Запоминайте — узнаете многое…

Запоминайте! Как печально сознавать сейчас, что мы так мало запоминали! Много ли могу я сейчас сказать хотя бы об этой встрече в Машковом переулке? Одна-две мысли, несколько слов — и все. А ведь там, наверно, раскрывалась целая книга… Ну, да что уж!

Я старался произвести благоприятное впечатление, опасаясь, что Исаак Эммануилович может раздумать и вдруг отказаться от своей готовности помочь мне, доверить поручение. Это сковывало меня, но я беспокоился напрасно. Старания мои, очевидно, бросались в глаза, и Бабель вдруг сам начал держаться со мною так же игриво-молодцевато.

— Вы были бы хорошим дипкурьером, — поощрительно сказал он.

Разумеется, Бабель имел в виду ту внешнюю дисциплинированность, от которой я не отступал, но — «увы, — оставалось подумать мне, — мало ли кем я мог бы и хотел быть! В свое время я хотел быть Дмитрием Донским. Быть бы мне хотя бы хорошим товарищем!»

Ладно, не об этом речь.

Я повез в Нальчик к Беталу Калмыкову французские архитектурные журналы.

Тогда только замышлялись те сады, здания, дороги и мосты, которые теперь украшают страну, расположенную на северных склонах и равнинах Кавказа. Прославленные и уже седовласые народные артисты, поэты и художники Кабардино-Балкарии в ту нору либо только учились грамоте, либо ехали юношами и девушками из неведомого Нальчика, недавно переставшего числиться казачьей слободой, в Москву для получения высшего образования. На расширяющихся колхозных нолях, на пастбищах, отнятых народом у владетельных князей, люди только-только приучались обращаться к науке.

Бабель был прав: не один я получал тут ничем не заменимые впечатления. Мудрый совет — в малом наблюдать великое — оправдался. Я чувствовал себя как бы за общим семейным столом, когда все налицо и жизнь семьи ясна и понятна.

Еще только вчера мало известная окраина громадной и противоречивой царской России становилась примером того, на что способны народные силы, пробужденные революцией. И, конечно, это было самое интересное — наблюдать, как исконные национальные качества людей становятся той самой силой, с помощью которой, мудро сохраняя корни, они хотят обновить, оплодотворить, преобразовать к лучшему все древо жизни. Руки, протянутые к солнцу, делали свое дело.

Благородный и житейски мудрый народ, чуткий к справедливости и красоте, жил на плодородной Кабардинской равнине. В угрюмых ущельях, оглашаемых шумом водопадов, на травянистых склонах главного Кавказского хребта жил древний, не менее умудренный трудолюбивый народ Балкарии. Революция — воля всеобщего опыта — объединила их в. стремлении к лучшему, к правде и красоте. И грандиозная картцна борьбы, и побед, народных треволнений, драмы, войны и мира небывалых десятилетий — эта картина разворачивалась перед глазами: солнце над снежной вершиной, и узкий серп месяца над высоким краем ущелья, шелест поцелуя, уют домашнего очага, нарастающий грохот снежной лавины…

Все, все здесь угадывалось.

На главной улице маленькой столицы совсем юной республики еще редко можно было услышать грохот фордика, но часто можно было увидеть библейски величавую фигуру горца в черно-крылатой бурке, кабардинской, слегка набекрень, барашковой шапке, шествующего вдоль улицы по мостовой. Ослики ему. не мешали. Дети. Женщины с тонкими

чернобровыми лицами, наполовину прикрытые тугим платком.

На перекрестке, наиболее людном, нередко можно было видеть и самого плечистого, узкоглазого и скуластого Калмыкова в его неизменной золотистой кубанке. Он заканчивал разговор с окружавшими его стариками.

А вдали, за чудесным парком с могучими голубыми елями, в бездымном ясном воздухе — горы, горы, горы…

Могло ли все это не волновать? Не сегодня-завтра обещана подвода, вернее, горская линейка-таратайка для поездки в отдаленные аулы Чегемского ущелья. А может, удастся оттуда пройти и на перевал в Сванетию. А может, удастся принять участие в народном празднике по случаю снятия урожая кукурузы, проса, ячменя в ауле Кюнюм под самыми снегами! Там уже закончили постройку плотины для водоема и крыши над новой школой, а на днях туда повезли молодые саженцы для посадки сада. Привьются ли?

И вот деревца, когда-то посаженные с твоей помощью, теперь стоят мощными аллеями вдоль прекрасных дорог. Больше птиц, цветов, тени. Девочка, которая когда-то робко пробовала продекламировать перед тобою русское стихотворение, сейчас исполняет роль героини в пьесе национального поэта. Когда-то в угрюмом горном, кошу, среди баранты, где ты располагался на ночлег, мальчик подал тебе прохладную чашку айрана, с любопытством и легким испугом смотрел на небывалого человека из России, из Москвы. Теперь — он знаменитый ученый-животновод страны…

Имена многих наших друзей из Кабардино-Балкарии теперь известны всей стране — дальше, за ее пределами!

Бабель был прав. Он прежде всего был прав правдой общей — он наставлял меня на доброе знание, на любовь, хотя и этого в ту пору я, кажется, не понимал. Да, я полюбил чужих красивых людей, полюбил природу их страны, научился слышать дыхание их истории, а главное — видеть неизменное стремление людей к красоте и справедливости. Не стыдясь пышных слов, скажу: дружба с этой страной не раз пробуждала во мне чувство, которое принято называть вдохновением — ее горы, ее небо, ее тайны. А теперь мне понятно еще кое-что.

Мне понятно, что благодаря всему этому я приблизился к душе человека, взволнованного тем же самым. Вот это и заметьте! Заметьте, как иной раз пути через долины и горы, по морям, а то и по городским улицам и переулкам, освещенным фонарями, под которыми вы останавливались вдруг для беседы, эти дороги верней всего ведут к сближению человека с человеком.

Будем беречь эти дороги и обсаживать их тополями.

Я радуюсь, когда кабардинец или балкарец с уважением говорит о друзьях из России, о том, как отблеск русских снегов упадает иногда на снежные вершины Кавказа. Не раз приходилось мне слышать, с каким уважением относятся к русской интеллигенции, соплеменной Радищеву и Лермонтову, Герцену и Ленину, на Кавказе. Я не раз слышал это от прекрасных поэтов Кавказа — Алима Кешокова, Кайсына Кулиева или Расула Гамзатова. Мне запомнилось, как страстно Кайсын говорил о своем друге, русском поэте, полюбившем камни и реки его страны. Многие сердца тронул искренний литературный «тост» Расула Гамзатова, поднятый за его друзей-переводчиков. Думаю, мое признание в том, что и мне приходилось пить воду горных ледников и есть хлеб, выращенный на скалах Кавказа, не прозвучит нескромно. И я имел высокое удовлетворение: случалось убедиться, что и под моим пером переводчика художественное слово кабардинского писателя достойно звучит на языке Пушкина и Лермонтова. Тут от упреков я свободен.

И еще раз там убедился я в том, что дружба народов начинается с дружбы человека с человеком. Всегда дружба человека с человеком обладает способностью и привлекать и распространяться, подобно тому, как цветочная пыльца с двух, с нескольких цветочных головок постепенно порождает целое море цветов. Нужно, впрочем, сделать одну оговорку: в прежние годы не все еще было ясно, часто обманывали характеры людей, обманывали именно своею силой, что иногда мешало понимать истинное значение их дел. Было и так, что дела человека казались важными, громкими только потому, что круто и беспощадно действовал человек, голос его звучал зычно и властно. А ведь точно также, как в малом легче видеть большое, не всегда в громком заключена истинная мощь. И обмануться легче еще потому, что у иных поколений нет преимущества исторического обзора.

Тем более теперь радостно сказать о том, что мы знаем высокое удовлетворение от торжества конечной правды, знаем нелегкий, но пахучий хлеб дружбы, солнце, принесенное нашими же руками, знаем возможность художественного познания.

Многие знают теперь то, что вначале было знакомо только немногим.

Иногда мне бывает не весело, а грустно за столом общим с моими друзьями из Кабардино-Балкарии, умеющими делать дружбу веселой, грустно потому, что уже нет многих из тех, кто мог бы быть с нами. Их не может заменить никто другой — именно тех людей, что когда-то в том или ином качестве вручали тебе хотя бы одно звено все той же волшебной златой цепи

доброй преемственности, общей верховной заботы о чем? — о том, чтобы всякий человек умел смотреть в глаза любого другого человека всегда — даже и тогда, «когда у вас на носу очки, а в душе осень», как писал в одном из своих рассказов Бабель.

У себя дома, на дворе и на улице

Дальше снова лягут несколько страниц из старых дневников, нуждающихся в комментариях. Комментарии будут тут же.

«Наступает осень — чудесное время в Москве, но на этот раз всюду как-то по-особенному разнообразно любопытно. Состояние как бы вдруг остановившегося взрыва.

Вся Остоженка разрыта, наш старый дом повис над котлованом — прокладывают открытым способом линию метро первой очереди.

И вдруг по Чудовке проехал всадник — босой, без шапки. Смешно. Как в деревне. Тут же бьет молот, сотрясая стены нашей маленькой квартирки: механический молот вбивает сваи.

Поздним вечером я, по обыкновению, прохаживался вдоль подвалов Чудовки. За окнами уже спят. Осенний яблочный воздух, а из окон несет дыханием нор. В одном окне на подоконнике увидел три яйца: сегодня выдавали по рабочим карточкам.

Где-то веселый женский голос пел грустную песню. Другую песню пел мужчина за дощатым забором: «По диким степям Забайкалья».

Дикие темные времена оставили нам свои песни. Будут времена, когда тоске будут обучаться по старым песням каторжников.

Приходил Иля[Илья Ильф], приглашает на завтра: говорят, будут взрывать храм Спасителя.

Я помню, как в шлеме купола появилась первая щель, потом — другая, дальше и дальше — со всех сторон купола, и тогда сначала сквозь щели засквозило небо, а потом — совсем насквозь — в громадной сетчатой мышеловке арматуры. Вместо привычной позолоты над городом зияли дыры. Между тем мы научились рассматривать звезды через сеть арматуры, через каркас, и казалось: не звезда мерцает, а кто-то залез туда, на высоту, с лучистым фонариком в руках, лазает там, что-то ищет, осматривается, увидел.

Фантастический человечек действовал в устрашающей вышине, таинственно-хитро увлекая воображение. Редкий вечер мы не ходили туда с Илей. Это было очень интересно. Иля купил фотоаппарат и уже отлично снимает — и цирк Шапито в парке культуры и отдыха, и Генриетту, у которой на одном снимке оказалось три ноги, интерьер своей и нашей комнаты, Женю Петрова, Сашу Казачинского, Борю Левина — всех друзей,

знакомых, кошек, собак, строительные работы на Остоженке, храм Христа Спасителя в разных стадиях его обреченности.

Так вот — завтра бухнут, а между тем на Остоженке дело не замирает. Выполняется план ночной смены. Двигаются и шепчутся какие-то светы и тени, бухает и лязгает, и опять слышен тот же голос, та же надрывно угрюмая сибирская песня: «По диким степям Забайкалья».

И все это вместе радует и душу и воображение, вся полнота ощущения — и то, что на улице, и то, что мерещится нам в небе. Все вместе — это и есть предчувствие будущего.

— Доброе утро!

— Недоброе утро, — вдруг отвечал Ильф.

— Чего так? — я растерялся, но спросил развязно: — Будем взрывать?

— Как здоровье Анечки? Что по этому поводу думает она?

> (Анечка — неизлечимо больная девочка из семьи соседей. В летнее время она часами сидела в кресле на пороге, и Ильф, приходя к нам, любил поговорить и поиграть с нею.)

Я отвечал, что Анечка очень жалеет, что не будет видеть, как взрывают.

— А нам отсюда будет отлично видно, запоминайте все — не каждому суждено увидеть отречение от престола или извержение Везувия. Входите же, — Ильф стоял в дверях со стаканом холодного чая в руках. Он был возбужден, на скуластом лице играли пятна румянца — всегда признак возбуждения.

В комнате, кроме Маруси (Мария Николаевна Тарасенко, жена Ильфа), был Саша Казачинский и Соколик, соседи Ильфов…

> (В это время Ильфы жили на Саймоновском проезде, на верхнем, пятом этаже дома, воздвигнутого железнодорожным ведомством. Ильф и Казачинский, автор «Зеленого фургона», сотрудники «Гудка», уже прославленного своею четвертой полосой, получили здесь комнаты, как сотрудники газеты. Окна комнаты Ильфа были обращены в сторону Кремля и храма Христа Спасителя. Недавно я видел хороший короткометражный фильм «Ильф и Петров», с большим вкусом и тактом составленный преимущественно из фотографий, иногда сделанных самим Ильфом. Удивительно и печально было узнавать многое: самую комнату с ее большой балконной дверью, с туалетным столиком Марии Николаевны, столиком старинной работы. А вот другой столик между

балконной дверью и окном, за которым и ели и писали, любимое кресло Ильи Арнольдовича и он сам в любимом джемпере.)

…Долго оставалась только нижняя часть купола: купол стал вроде блюдца, а в пасмурный день казалось, что верх купола Ушел в туман. Потом фермы и перекрытия залепил снег, и вот наступил день, когда все мы увидели падение храма.

Вокруг сооружения, уже лишенного и главного, и угловых куполов, и всех скульптурных деталей, было так тихо, что через открытую форточку послышался скрип валенок на снегу. Человек в валенках, в буденовке, с биноклем через плечо, шагал к стенам храма, с ним — еще человек пять, штатских и военных.

С шипением взлетела ракета и разорвалась. Мы прижались к стеклам. Подрывники скрылись в блиндаже. Над храмом летела птица, зияла тишина, мы ждали.

Как из ноздрей курильщика, вдруг изо всех щелей здания повалил дым (а может, пыль) розовато-кирпичный и белый, и раздался звук взрыва, как чудовищная отрыжка.

Пыль и дым клубились над зданием. В щели поблескивал какой-то крестик. Продолжала лететь испуганная птица.

Дым рассеялся, пыль осела, смертельно раненное сооружение стояло — белое и жалкое в ясном морозном воздухе.

Опять побежали люди, они что-то рассматривали на доске, прикрепленной к стене какого-то временного сарая. Может быть, там был сейсмограф.

И вот снова взвилась ракета. Кто-то из нас начал отсчитывать секунды, казалось, мы ждем чересчур долго. Но вот опять глухо, чудовищно рыгнул аммонал. Ильф вскинул и нацелил свою «лейку»:

— Что-нибудь да получится.

Башня не покачнулась.

— Ничего не получится, — трезво заметил Саша Казачинский.

— Не вышло, — сказал еще кто-то.

Но в следующее же мгновение стало ясно: барабан храма шевельнулся. Неторопливо, важно громадная башня начала садиться и вваливаться во внутрь самое себя. Она исчезала, как исчезает жидкость, кружащаяся по воронке.

— Почему же не снимаешь? — спросила Мария Николаевна.

Но Ильф побледнел и молча опустил аппарат.

Аммонал действовал безотказно. Его сила обняла, сжала кости и сухожилия всего здания, сломала и разорвала их в могучих бурных своих объятиях…

Долго молчали.

— Фантастично! — недоуменно проговорил Ильф и сердито почти выкрикнул: — Как ни в чем не бывало! Смотрят ясными глазами, как ни в чем не бывало!..

Мы переглянулись, полагая, что этот упрек относится к нам.

— Печальная реальность, — сказал Саша Казачннский.

То, что сейчас произошло у пас перед глазами, не было неожиданностью — долго подготавливалось, — и тем не менее, зрелище потрясло всех…

> (Была ли необходимость сносить такие памятники, как храм Христа Спасителя или невосстановимое сокровище старой Москвы и всей страны — петровскую Сухареву башню? Сейчас, наверное, мы этого не сделали бы, но слишком дорого заплатили за жестокий урок.
>
> Признаюсь, я и сам хотел оправдания, трудно было иначе, допускал, что необходимо расчищать место на старом дворе. Теперь мы знаем, что нельзя нарушать памятники народной жизни. А в то время не у каждого боль при виде напрасного разрушения была сильнее желания оправдать его.)

— Скажите, найдется ли еще стакан чая? Что это было — фантазия или печальная реальность?.. Недоброе утро.

> (В устах Ильфа эти слова приобретали особенное значение. Но сначала еще несколько пояснений.
>
> Упоминаемая в дневнике Генриетта — Генриетта Адлер — моя жена и подруга Марии Николаевны Тарасенко. Это к ней относится загадочное на первый взгляд восклицание Ильфа в его «Записных книжках»: «Гой ты, моя Генриетточка!» Ильф дружил с нею и ее семьей. Мне кажется интересным вспомнить отдельные места из писем Ильфа к Генриетте Адлер — очень давних, очень «ранних» — начало двадцатых годов, — и я, пожалуй, сделаю это позже, сейчас вернусь к тексту.)

Недоброе утро… В самом деле, ведь это была недобрая печальная реальность — какая уж тут фантазия! А в устах Ильфа слова эти приобретали особенное значение.

Взорван храм Христа Спасителя на Волхонке. Сносят и нас…

Третье столетие насчитывает старый толстостенный дом на углу Чудовки и Крымской площади. Говорят, дом был дворцом вельможи Дурново. Позже дом перестроен: этажи нелепо

сдвинуты, квартиры вперлись одна в другую, нелепые лестницы, нелепые печные устройства. Таким он и стоит, один из сотен памятников старой Москвы, в огне костров, в стуке и лязге строительной блокады. Молот ухает. Стены содрогаются. Доски, балки, щебень. У ворот что-то чадит, напоминающее паровоз Стефенсона, а по ночам ярко озарен вход в траншею — подкоп под старую и все-таки милую Москву.

День за днем дело «осаждающих» становится делом «осажденных». И так всюду: на Днепре, залившем прибрежные деревни, возникает Днепровский комбинат, не сегодня-завтра откроется Беломорский канал.

«Днепрострой стал возможен лишь после того, как поместья отдельных хозяев получили единого хозяина». Это уже трюизм. О чем тема? Одна из бесконечных разнообразностей темы о старом и о новом: как жили и как живем, как живем и как думаем жить.

«Здесь строят метрострой», — написал на воротах мелом наш дворник, его теперь величают смотрителем.

Трасса. Радиус. Открытый способ. Слова, значение которых еще вчера не всем было понятно, сейчас слышатся в нелепых комнатках старого дома чаще, чем, например, «сарай», «корыто».

Что спросит девочка Валя, прибежав из школы? Книжки на стол — и к Анечке или к брату Димке:

— Ну, сколько сегодня?

— Сто.

— Сто? Вчера было сто двадцать три.

— Сто двадцать три было к шести часам, а сейчас еще нет шести, так будет сто пятьдесят.

— Ого! Кубов?

— Кубов.

Свой дневник они пишут сообща, все трое:

«Уже совсем разрыли. Угол, где кровать бабушки, выпал, как зуб. Бабушка сердится, говорит: «Ужасно», а мама — «ужасно, как интересно. Переходи, говорит бабушке, к нам на чердак, а мы — к тебе». Не хочет. «Здесь, говорит, родилась, здесь и помру». Смешно…

Их девушки работают в штанах. Катят тачку с булыжником. Поля говорит: «Девушки, остановка у института Красной профессуры», а они не слушают — рассказывают, какое у кого платье. Ну, а бабушка свое: «Ты бы, говорит мне, и сама бы штаны надела».

Папа подробно объяснил: по Чудовке будут рыть открытым способом, это значит — вроде ущелья, а потом засыпят. А наш дом треснет. Жильцы канителят: «Что же это мы на субботник ходим. Сами сук пилим». Димка опять лазил под фундамент, туда

машина, похожая на лошадь, пускает тепло.

Было смешное. Берта Абрамовна завелась с Ириной Сергеевной, кричит: «Про способы рассуждаете, а социалистическое имущество в свой сарай тащите. Думаете, жильцы не видели, сколько дров натаскали». А муж Ирины Сергеевны успокаивает: «Вот видишь, открытым способом не годится». Все рассмеялись…»

Вот опять за окном вспыхивают длительные молнии электросварки. Валя опять сидит над дневником. Быть может, ее глаз и душа видят и истолковывают происходящее не совсем так, как следовало бы, но полной точности и не надо, нужны страсть, интерес, мечтание.

Люди, безудержно устремившиеся к справедливости и добру, не хотят обмана. Все сущее держится добром.

Молнии вспыхивают. Неугомонно ухает молот. Дурит голову дым, просачивающийся в окно. Иней на стеклах светится сказочно…

Сейчас придет Дима, я обещал растолковать ему, как будет бегать поезд метро. Далеко ли?

«Далеко, — скажу я ему, — очень далеко. Это будет чудесное путешествие. Иди, иди непременно, если ты чего-нибудь да стоишь». Это же втолковываю и себе:

— Не уставай путешествовать!

Время проходит. Когда подсчитают итог на вещах, всем понятных, когда запах осени больше не будет смешиваться с вонью нищих подвалов, когда это наступит, тогда, должно быть, завершающаяся жизнь сомкнется с ее началом, и мне будут возвращены предметы, по которым вместе со своими ровесниками я учился узнавать мир. Но они будут возвращены обновленными, их обновит революционное перерождение.

Севастополь в августе 1941

Тот ошибается, кто считает, будто подневные записки — дневники — литературная форма, сама себя исчерпывающая. Тут часто и происходит самый нелицеприятный и строгий разговор с самым взыскательным собеседником — совестью. Нет лучшего материала для воспоминаний и новых размышлений, хотя многое и сохраняет интерес в первоначальной форме. Особенно верно это для дневников фронтовых.

Сумка от противогаза всегда бывала хорошим фронтовым товарищем. Чаще всего эта брезентовая сумка наполнялась записными книжками. Нередко вставал вопрос: лишняя банка консервов или пачка книжечек-тетрадок? Вопрос всегда решался в пользу маленьких, тщательно пронумерованных книжек. Записные книжки да письма от близких — ничего не было более ценного, незаменимого. В море на корабле, в десантной операции, на переднем крае под Севастополем, в окопе под Одессой пли под Новороссийском — всегда хотелось иметь при себе весь комплект, все, что ты успел записать. Это представлялось таким важным! Эта верность имела, впрочем, и слабую сторону. Случалось и так, что нарастающие осложнения боевой обстановки заставляли прежде всего подумать: что делать с драгоценным багажом? Очень трудный вопрос. Поторопишься — потом не простишь себе. Пропустишь какое-то мгновение — произойдет несчастье.

Помню, однажды под Ростовом-на-Дону наш катер ночью заблудился в ериках-протоках. Часть дельты была у врага. И вот в самом деле мы уже слышим окрики с берега. Стрельба. Пули разносят в щепки борта, мотор того и гляди заглохнет. И сейчас вспоминаешь то состояние — и тебя пробирает холод… Но вот мотор заработал веселее, катер дал ход — ушли.

О, как радостно — в который раз — заново перечитать маленькие книжечки. Несомненное и незаменимое сокровище! Ведь случалось и так, что чернила на этих страничках в буквальном смысле смешивались с кровью. И несмотря ни на что писатель па фронте по справедливости видел в этом накоплении свое назначение в бою и свое будущее — за столом…

И вот книжечки в клеенчатых переплетах опять передо мной. Что выбрать? Вопрос радостный и трудный, не менее трудный, чем иные минуты па фронте…

Пожалуй, выберем эти страницы: «Севастополь в августе 1941 г.».

Севастополь. 18 августа.

Утром Танцюра разбудил нас «жизнерадостным» сообщением:

— Оставили Кривой Рог и Николаев.

Никакого чувства. Этот товарищ из тех, для кого слова — действительность. Для нас нет ни факта, ни мысли, есть только словесные формулы, к которым он привык, которые облегчают его жизнь, оставаясь незыблемыми. Преданность этому миру догмы заменяет истинную жизнедеятельность. А вообще он скромный, неплохой парень, очень опрятный, с юношеским взглядом добрых глаз, с чистым румянцем во всю щеку.

Батареи рычали, им вторило отрывистое эхо над морем. Батареи рычали деловито. Деловитость придавалась пушечному реву настойчивостью, даже неумолимостью, с какою они делали свое дело.

У убитого краснофлотца нашли записку: «Если что, считайте меня коммунистом».

— Стоишь под огнем на мостике, внутри все заморозилось, а под мышкой, слышишь, течет что-то теплое.

Краснофлотец на батарее говорит:

— Нужно воевать усердно, внимательно. Я замечаю, что за время войны можно сделать людей лучшими. А что это такое? Всем нужно победить фашистскую Германию, а нашему комендору нужно, чтобы я извинился перед ним… Кто из нас прав?

— Стоять у пушки — надо знать все ее капризы.

Приезжал Константин Симонов. Говорят, поседел. В начале войны он был на Смоленском фронте.

На скамеечке сидели три девочки и говорили о том, что они пойдут в партизаны.

— Так ты же не устоишь на ногах, — со смехом говорила одна другой, — упадешь, когда начнут стрелять. Ты же никогда сама не стреляла.

Подруги серьезно задумались.

Молодой Луначарский летал в Москву. Прилетел обратно с женою, она беременная. Встретил их, когда Толя устраивал жену на переднем месте в грузовике, отходящем в Керчь с женщинами

и детьми. Он ее очень любит. «Леля замечательная, мужественная женщина, — говорит он о ней. — Выйти живым из этой кровавой игры, значит, быть очень счастливым. Подумайте, какое в самом деле это будет счастье. Вы видите его?»

Сейчас Толя прикомандирован к англичанам, прибывшим на флот. (Они устанавливают на кораблях противоминное оборудование.) На вещи смотрят оптимистично, о ходе войны говорят так:

— Перед тем, чтобы стало хорошо, всегда бывает очень плохо.

Когда же, когда же новеет переменами? Будем ли мы так счастливы, когда это мерещится живому вдумчивому Толе Луначарскому? Просто найдем ли друг друга после войны?

В Москве Луначарский видел кое-какие разрушения: нет аптеки на развилке Поварской и Мерзляковского. Кремль камуфлирован: иллюзия отдельных домиков.

Надо смывать запахи домашней, комнатной жизни.

Нет на войне другого поведения, как только поведения примерного: сообща, методично, не теряясь, зная правоту своего дела, и отступая и наступая, но всегда борясь, исправлять несчастья, которые каждому из нас причиняет война, каждому из нас и всем вместе. Не можем мы оставаться с несчастьем.

Симонов рассказывал, что у немцев тоже есть на фронте писатели. У него у самого задача сложная — проехать вдоль по всему фронту — от Черного до Баренцева моря.

Вечером было совещание у бригадного комиссара. Узнав, что «Красный черноморец» рассылает людей по разным местам, предложил «не очень разбрасываться. Все может случиться». Всем держаться в куче.

Приехали с Дуная Александр Ромм и Лагин — в сапогах, в черных шинелях, немытые, небритые и не очень торопятся побриться — так интересней. Согласен: очень интересно смотреть на них. Волнует все, и то, что они ходят при кобурах, и все то, что они рассказывают. Попадали под обстрел. Однажды ночью на одном переходе заблудились. Подводчик заснул, и часть обоза пошла за ним, вернее, за его лошадью. Скоро увидели пламя пожара. Встревожились: что за пожар? Догадались, что горит ими же подожженный хутор, значит, шли обратно.

Начало третьего месяца.

Сильнейшая буря. Гроза. Ливень. Посмывало и посрывало все,

что может быть смыто и сорвано, — и вывески, и затемненные оконные рамы, и трубы, и даже рельсы. У нас, в музее Севастопольской обороны, вышибло стекла, нас, еще спящих, облило ливнем, забрызгало все помещение, все сбросило и сорвало ветром.

На «Коминтерне» тридцать убитых и человек восемьдесят раненых. Моряки дерутся храбро и стойко. С кораблей видно продвижение наших частей, везут боеприпасы, отвозят раненых. Можно видеть огонь артиллерии.

Дорогие одесские степи! Самое настало время. Виноградники и бахчи налились соком. Все пахнет.

В городе пустынно, с продовольствием не плохо. Пролетариат дерется в рядах ополчения.

К славе русского штыка присоединяется слава русского авиатарана. Начатое героем Гастелло повторяется ежедневно.

В московских церквах, говорят, служат молебны о даровании победы русскому воинству.

Воевать — это и значит прежде всего быть готовым идти на смерть.

После разговора с Кремневым, предложившим мне направиться в Одессу в бригаду морской пехоты, какая-то девица встретила меня у каменного севастопольского трапа романсом: «Ты уходишь, чтобы больше не вернуться…»

Толя Луначарский повторяет:

— Одно лишь представление, что войны уже нет, дает такое счастье, которого хватает надолго.

— Как так войны уже нет?

— Ну, это якобы нет. Воображение. Отбросьте все — и воображайте.

А как тут отбросишь? Нет, в моем возрасте воевать труднее. Толе легче.

Письма от Жени. Это, кажется, первое, что разогрело душу. А вдобавок пошел на «Большой вальс» — совсем расстроился. До слезы. Какое счастье — мир и жизнь.

Как похожи письма наших жен одно на другое, хотя каждая из них пишет о своем. Все те же попытки шутить, все то же чувство растерянности, тот же трепет боязни и за себя и за тебя. А война, как волна за волной на море, бьет и бьет. Кажется, вот следующая будет ласковее, а она ударяет тебя так же неумолимо и жестоко,

как предыдущая. И нет возможности, нет власти успокоить волны.

Шел по улице во время воздушной тревоги. У ворот одного дома шалил какой-то мальчик. Женщина пригрозила ему:

— Отдам тебя немцам.

На другом крыльце другой мальчик, испуганный выстрелами, плакал. Мать успокаивала его:

— Мы же здесь живем, это же наш дом, мы же всегда здесь, посмотри вокруг: это же все не чужое — наше.

А немцы подбираются.

29 августа.

Танцюра сообщил о том, что нами оставлен Днепропетровск.

Рассказывают, как было под Николаевым.

15-го числа, после того как Буг был форсирован, части противника появились над городом с северо-востока.

В ночь на 16-е взорвали заводы, доки, верфи, суда, загорелся вокзал. Главная Советская улица лежала в развалинах.

Всюду горели склады и железнодорожные составы.

Ночь наступила страшная. По городу била артиллерия. Взрыв заводов предрешал судьбу города. Они густо дымили, горело все, что могло гореть. Река стала черной. Вставало черное утро. На стапелях возвышались громадные силуэты изуродованных недостроенных кораблей. За рекою горели стога и хаты. Дым густо стлался далеко по степи, и кое-где вдали на уцелевших крышах уже можно было видеть фигуры немецких офицеров с биноклями у глаз.

Попробуй-ка удержись на торпедном катере на полном ходу. Если не умеешь балансировать, по-кавалерийски «держаться на шенкелях», будешь весь избит, можно и ребра поломать.

Так вот, катер моего приятеля, младшего лейтенанта Володи Ф. на полном ходу наскочил на мину — не нашли ни одной щенки, ну, хотя бы спасательный круг — и этого не нашли.

Катерников подрывают снизу, бомбят сверху. А сами они живут в пещерах Херсонеса, из которых убраны кости и остатки гробов первобытных христиан.

В Стрелецкой бухте стаями плавает оглушенная взрывами рыба. И тут и там покинутые хозяевами беленькие домики, по дворам бродят покинутые куры. Посмотри вокруг: это все не чужое — наше.

Люди, люди, люди… на улицах, на вокзалах, в казармах, на кораблях — всюду люди, ведущие войну. Роты, дивизии, армии. Все у людей переменилось, все переместилось. Беженцы, погорельцы. Вот когда изо дня в день, ежеминутно ты всюду лицом к лицу с народом, с людьми. Лица, лица, лица… Не имеешь права быть «сам по себе», не должен, нужно любить эти лица, эти бесчисленные толпы людей, прислушиваться, понимать. Все в движении, в кочевье. Народ. Он громаден и в своей огромной массе бесстрашен перед смертью. Бесстрашен наш народ! Сколько раз я уже слыхал от моряков: «Вот кончится война, сделаю то-то или то-то… Коль останемся живы». И это «коль останемся живы» так спокойно и просто, что кажется, он непременно останется жив.

— Мои братья воюют под Псковом, — говорит Мусьяков и добавляет задумчиво: — А может, уже отвоевали…

Он получил письмо от родных из деревни из-под Пскова: эвакуируют женщин, детей и стариков. При этом чудно и толково расписывают, кому быть при чем: этот ведет корову и отвечает за нее, другой отвечает за инвентарь и т. д.

Батальонный комиссар Зенушкин, москвич и «правдист» (очевидно, будет редактором нашего «Красного черноморца»), рассказывает, как его мать-старуха, очень бережливая, работает на оборону.

— Что делаешь?

— Да вот шью варежки.

— Это для кого же, зачем?

— Для вас шью, подбирать зажигательные бомбы.

— Зачем же бархатные?

— Да теперь нельзя разбираться, все идет.

А прежде не дай бог заглянуть к ней в шкаф или в комод, наполненный лоскутками.

Ивич не получает писем от жены. Почему?

— Да у нее такой почерк, что никакой цензор не разберет, сразу заподозрит шифровку.

Фотограф «Красного черноморца» — в очках, в «кинематографических» брюках-бриджах. Через плечо — фотоаппарат. Когда он шагает, окруженный нашими командирами, его принимают за пойманного шпиона.

Ужас! Неужели это правда — ребенка за ноги и об косяк?

Видели, как это делают немцы.

Что же это? Тоже организованность, дисциплинированность, исполнительность? Не надо, не надо такой исполнительности!..

Как удобно и выгодно управлять такими солдатами.

Пишем о героях. Но пишем собственно о технической стороне события: сколько герой сбил самолетов и как сбил, и считаем, что это уже хорошо. Неужели в наши дни геройство, которое, конечно, можно назвать массовым, и есть только техника: верный глаз, твердая рука? Ведь вот, скажем, исторический севастопольский герой матрос Кошка — он по-русски сметлив и пытлив, в его характере хитринка, добродушие, широта. Видно, какими чертами характера он обязан своему геройству, а у наших ежедневных героев нет ни лица, ни характера. А один краснофлотец, рассказывает Ромм, переплыл Дунай, чтобы прервать у румын связь. Плыл ночью, стараясь не плеснуть. Благополучно вернулся. Это ли не матрос Кошка?

Институт комиссаров восстановили, и у комиссаров праздничное настроение. Шутя спрашивают друг у друга:

— Отец ли ты?

— А ты? Душа ли ты части?

Попал на фильм «Три товарища». Боже! Какая старина! Щемящие фокстроты, борьба за выполнение и перевыполнение плана. А ведь как это занимало страну! Сколько было приложено усилий, чтобы добиться успехов в этом мирном деле: река, лес, бревна, по вечерам уха…

Почта переполнена.

У нас на дворике, выложенном старым потемневшим черноморским камнем, со старыми пушками 54-го года, щебечут птицы, доносится шипение пара, стравливаемого на кораблях.

Любители симметрии и аллегорий, немцы так и должны были сделать: начав войну в ночь на 22 июня, в ночь на 22 июля и в ночь на 22 августа послать двести или триста самолетов на Москву. Если, как говорят, прорвались единицы — это можно считать торжеством нашего оружия, это должно успокаивать больше, чем обдуманные сводки.

Одни утверждают, что сбитые самолеты упали на Петровке, другие оспаривают: не на Петровке, а на Арбате. Пусть хоть к тиграм в вольеры зоопарка, все равно, пронзительно другое… шутка ли сказать: над Москвой сбиты самолеты противника!

Кто из соседей дежурит у нас на крыше нашего дома? Что у нас на Чистых прудах? В нашем малолюдном, а сейчас, вероятно, совсем затихшем Хохловском переулке? Кто вместе с Женей стоит сейчас у нашего широкого окна, всматривается в небо? Там буду не скоро. Но в Одессу, кажется, все-таки попаду, в бригаду полковника Потапова. Как-то будет — взбежать к памятнику Дюка по знаменитой лестнице из порта… Но буду там… Буду…

Опять буря. Опять ночью сорвало с окон бумагу, шторки, все, чем были затемнены окна. Внезапно среди ночи вспыхнул огнями наглухо затемненный город, но, к счастью, вражеская авиация не воспользовалась — продолжали бомбить нас ветер и дождь.

Вот понятный и уму и сердцу тип настоящего политического работника — старший политрук Панфилов: человеческие слова, человеческий голос, мысли и чувства, сознание долга, душевные порывы. В день начала войны он был в Ковно со своей семьей. Мог задержаться еще на один день и вывезти семью, это ему простили бы, но он уехал, оставив семью на попечение других, не мог допустить и мысли, что захват Ковно — дело нескольких дней. И теперь можно представить себе его страдания. Он почти не говорит об этом, но однажды, с трудом выговаривая каждое слово, голосом, вдруг охрипшим, сказал мне:

— Оставил их Гитлеру.

А в другой раз, ни к кому собственно не обращаясь, проговорил:

— Ах, как тяжело! Тяжело в это время остаться одному.

А вот К., журналист-футболист. Журналист, как убеждено наше редакционное начальство, образцовый. Этот мне сказал:

— Слушаю я вас, и не похоже, что вы на войне. Все какие-то отвлеченные разговоры, философствование.

А речь у нас шла о том, как нам нужно писать. Как сделать так, чтобы осторожность не переходила в засушливость. Речь шла о том, что нужно ближе, лучше, смелее, свободней чувствовать жизнь и уметь ее передавать. Вот, например, такой характерный и значительный факт: среди моряков на кораблях появилось настроение — проситься в армию, потому что здесь война «не такая», а армия, наверно, нуждается в подмоге. Об этом писать или не писать. Ведь это сама жизнь. А у него готовая формула: «Не давай трибуны вредным настроениям». Или вот вопрос: как лучше рассказать о моряке, по характеру человеке неуравновешенном, страдающем «партизанщиной», но безусловно храбром, дельном, полезном в любом боевом организме?.. Разве

война не вызывает размышления? Война не только действие, но и размышление. Для того чтобы правильно действовать, нужно немало думать. И полагаю, именно этого от нас ждут.

А этот журналист-футболист, может, и есть хороший командир, но, согласимся с ним самим, плохой философ. Его идеал журналистики — «литературный портрет», потому что сей литературный портрет сохраняет шансы впоследствии попасть в какой-нибудь сборник. Об этом обо всем — и о том, что и теперь он иногда играет за команду «Динамо», и о том, что за время войны он безусловно соберет комплект «литературных портретов» для отдельного сборника, — обо всем этом тов. К. беззастенчиво и назидательно говорит…

На летучке в редакции я критиковал редактора (заместителя нашего главного редактора), без чувства меры правившего мою статью. Я говорил о том, как увлечение красивым словом может испортить дело. Тов. Ю., правивший статью, может быть, из опасения недооценить достоинства того командира, о котором я писал, пустил в ход убедительный и щедрый эпитет. Читаю свою статью и вижу — написано: «…высокая требовательность к людям…» Буквально через три строки опять: «…воспитывает у них высокую ответственность». Еще через несколько строк снова: «Высокая требовательность». Далее: «Добивается высокой натренированности личного состава». Далее: «Высокий пример выполнения уставов и приказов» и т. д.

Тов. Ю. — человек тихий, трудолюбивый, симпатичный, но, что поделаешь, никто другой не говорит об элементарных требованиях к языку газеты, как избегать засушливости, как говорить о «высоких» примерах воинской доблести без лишних пышных слов?

Вопрос назревший и очень важный. Мое замечание, думаю, не пройдет без пользы для дела. Пришлось сослаться и на другие примеры. И вижу, что мое выступление не понравилось. Тут, в редакции есть группа людей, кадровых работников, которым вообще не нравится наше активное участие в работе газеты. Им не нравится и директивное покровительство литераторов-профессионалов, и, как мне кажется, действительная симпатия к «варягам» главного редактора «Красного черноморца» тов. Мусьякова. А мы — сила теперь солидная! За редакцией «Черноморца» и за Политическим управлением ЧФ числятся прибывшие в разные сроки (кроме тех, что вместе со мною работали здесь еще до 22 июня по истории кораблей ЧФ): Саня Ивич, Женя Чернявский, Лева Длигач, Толя Луначарский, Лазарь Лагин, Александр Ромм, Август Явич, Ян Сашин, наш «старик»

Василий Дмитриевич Ряховский, художник Леня Сойфертис, Решетников, Дорохов… Да, еще Гайдовский! Петр Сажин!

Гайдовский, Длигач, Лагин, Сашин тяготеют к редакции «Черноморца» и зачислены в штаты, за редакцией числятся, кажется, и художники. Другие расписаны по родам войск, частям и кораблям. Приезжают к нам и москвичи, вроде Симонова, работающие в центральных газетах. Мы завидует им, они завидуют нам. Нам кажется, что они много видят, свободны в своих поездках, а главное могут писать в хорошие газеты широко и свободно. Приезжие видят в нас «черноморцев», завидуют возможной сосредоточенности нашей работы. На эскадре живет еще Александр Зонин, элегантный и красивый человек, «аристократичный» в нашем представлении хотя бы тем, что дружит с адмиралом Владимирским, командующим эскадрой; его резиденция — на линкоре.

На днях Дорохов, пристроившись на бульварной скамейке, рисовал линкор с натуры. Его арестовали, заподозрив в нем шпиона, и привели в штаб. После этого художникам для их работы отвели какую-то комнатку на водной станции, откуда они могут рисовать вид на севастопольские бухты и корабли без особого риска.

Художники и поэты (Лева Длигач, Ян Сашин, Баковиков, Сальников) придумали в «Красном Черноморце» веселый отдел юмора и сатиры под названием «Рында». Сначала были большие сомнения, как встретят «Рынду» в дни войны, особенно колебались, печатать ли «Новые похождения Швейка» — не оскорбит ли это национального чувства чехов, знает ли краснофлотский читатель этого литературного героя, правильно ли поймут его второе рождение в эти дни, не покажется ли это мелким?

Приятно видеть, что затея удалась. И больше того: на днях нашу черноморскую «Рынду» передавали по радио из Москвы.

К моему удивлению, и у меня взяли кое-что «смешное» и так странно было слышать эту передачу из Москвы, эти слова и хохмы, придуманные здесь, в нашей маленькой редакции. Особенно удачными получились удары рынды у Сашина, у Левы Длигача, у Лагина… Но ведь они записные юмористы, а я «рындач» случайный…

Появился мой материал в «Литературной газете». Просят еще. Это очень приятно. Недаром едим краснофлотский хлеб.

Особенное это чувство подчинения тому или другому начальству, но мы стараемся, а угодить не всегда легко. Тут очень уместно хорошее чувство юмора, хотя бы с одной стороны. Очень помогает.

А между тем обнаружились и такие среди нас служаки, которым это даже нравится, доставляет удовольствие докладывать или рапортовать навытяжку, есть глазами начальство. Ей-богу, не уверен, что нашему брату это так уж и нужно! И все нащупывается какая-то средняя линия, ведь даже и у адмиралов нет опыта на этот счет. Хорошо Владимирскому с его другом-приятелем Зониным, просто и Зонину с Владимирским в адмиральской каюте, а вот уж каково Владимирскому со мной и мне с Владимирским даже в кают-компании? А ведь командующий эскадрой едва ли не самый интеллигентный на эскадре человек.

При каждой встрече с полковым комиссаром, начальником отдела Политуправления тов. Кремневым, которому поручено попечение и непосредственное руководство нами, пристаю с вопросом: «Когда же отправите в Одессу?» Но он все что-то выясняет и улыбается. Мы чувствуем взаимную симпатию. Во всяком случае мне этот человек приятен своею неторопливостью, аккуратностью, хотя и он чем-то напоминает тренера солидной футбольной команды. Все-таки это хороший тренер, интеллигентный, он почти всегда с книгой, а такие тренеры редкость — нет, нет, тут выбор удачный.

Скорей бы решался этот вопрос с командировкой.

После того как я критиковал в «Красном черноморце» язык газеты и говорил о том, что газета недостаточно энергично меняет прежние мирные привычки работы, в редакции на меня дуются, тов. Ю. даже отворачивает от меня физиономию, ей-богу, неловко. Редактор «Красного черноморца» тов. Мусьяков, человек старательный, восприимчивый и простодушный, знал меня еще в прежние времена, когда сам был помладше, а я приезжал на Черноморский флот в качестве столичного журналиста, корреспондента «Красной звезды». Он относится ко мне неплохо и даже, кажется, защищает меня в глазах других, хотя и считает меня человеком «важным и сердитым». Поговаривают, что Мусьякова заберут в Москву, на его место редактора флотской газеты готовится приехавший из «Правды» тов. З.— орешек, кажется, не простой…

По дорогам много грузовиков с женщинами и детьми, семьи начсостава, эвакуируемые из Севастополя. Говорят, в Ялте, в Феодосии, Керчи женщины целые дни стоят, прижавшись к своим детям. Чуть машина — «Откуда?» — «Из Севастополя». — «Ну, как, ну, что? Верно ли, что была такая бомбежка, что теперь уже не пройти по городу?» — И какой-нибудь баталер, из тех, что на

баталерке рубят мясо, начинает нарочно городить вздор, а те: «Ах, ох!»

Разговорился с чистильщиком сапог. Щетки мелькают, он говорит:

— Воюете, а не знаете, что такое немец.

— Но почему же не знаем?

— Их знаем только мы, караимы: в 1916 году кто научил резать караимов? Немцы научили турок резать караимов.

— Так. Сколько с меня?

— Ничего.

Все-таки заплатил ему, он догоняет, кипятится:

— Если уж хочешь заплатить, так плати по тарифу: теперь война.

Настроение раненых в лазаретах оставляет отрадное впечатление. Общий голос: ничего сверхъестественного! И мы уже подобрали к ним ключ.

— У немцев много металла и огня. Но наша артиллерия действует точнее.

Тактика: пропускать вперед, бить по частям, отсекая танки от пехоты. Если это не удается, танки уходят далеко вперед.

Ведь все дело — там! Какая тут сейчас война? Уже даже забывают вовремя затемнять окна.

Щемит сердце: вчера «Двинское направление», сегодня «Островское».

Вывезены шпага Нахимова, знамена и флаги. Осиротелые стоят в зале «Силистрия» и «Три святителя» — модели трехдечных кораблей величиною в хорошую телегу. Дворничиха развешивает на реях подштанники.

Тимирязев когда-то писал: «Успех в борьбе настолько же зависит от материальной силы и умственного превосходства по отношению к врагам, как и от нравственных качеств по отношению к своим… Общество эгоистов никогда не выдержит борьбы с обществом, руководящимся чувством нравственного долга. Это нравственное чувство является даже прямой материальной силой в открытой физической борьбе. Казалось бы, что человек, не стесняющийся никакими мягкими чувствами, дающий простор своим зверским инстинктам, должен всегда одолевать в открытой борьбе, и, однако, на деле выходит далеко

пе так».

Как радостно и утешительно вспомнить эти мысли! Да ведь в сущности и все народные сказки и легенды говорят о победе чистых душою над хищниками и злодеями, какою бы они ни были физической силой.

Дежурим на крыше штаба флота. Всю ночь то там, то здесь вдруг вспыхивают лучи прожекторов, качаются, шарят, скрещиваются, вторгаются в чудную спокойную звездную ночь.

Снова буря. Еще одна, третья апокалипсическая ночь. На этот раз в тучах шли немецкие бомбардировщики. Все вспыхивало, все гремело и ревело — и на земле и на небе. Это было страшно. Впечатления той ночи па 22 июня, когда началась война, бледнеют перед этим.

А что было тогда? Какая невероятная давность, какие невероятные дела!

Закончились большие маневры флота. Вся эскадра опять стала в бухту и на 21-е,это, кажется, была суббота, был назначен бал в Доме флота (бывшее Морское собрание). На улицах вечером было празднично, к Интернациональной то и дело подходили катера, и толпы краснофлотцев торопились на бал и концерт.

Я на другой день должен был ехать в Феодосию, в Коктебель, где ждала меня Генриетта. Все было ясно, радостно, празднично.

Я на концерт не пошел, раньше лег спать. Второй месяц я жил на крейсере «Червона Украина» — писал историю корабля, работа была закончена, я не отстал от других, занимавшихся историями других кораблей и частей.

Я не обратил внимания на разговоры в кают-компании о том, что бал преждевременно и как-то тревожно прерван, команды вернулись на корабли раньше времени.

Среди ночи я проснулся от шума. Было такое впечатление, что на корабле боевая тревога. Над головой по броневой палубе стучало много сапог, пробегали люди по коридору. И в самом деле — слышались выстрелы, залпы. Я выглянул в иллюминатор.

Ночь была теплая. У борта плескалась вода, а дальше на кораблях и на берегу вспыхивали залпы, все гремело, и прямо над «Червоной Украиной», довольно низко, в лучах скрестивших прожекторов я увидел самолет. Прожекторы сделали его светлым, белым, ярким, и на фюзеляже и снизу на крыльях я увидел знаки свастики.

Я сразу все понял, но не смел об этом думать.

Быстро одевшись, я выбежал на палубу. Вокруг — куда ни глянь — все стреляло, по всему небу качались и путались лучи

прожекторов.

— Что это?

Кто-то столкнулся со мной и на ходу проговорил:

— Маневры, что ли, а может быть, война.

К рассвету на корабле стало известно, что самолеты сбросили множество мин — в бухту и на берега, но все еще никто не позволял себе с уверенностью сказать: война.

С первым катером я пошел на берег.

— Бегите на базарчик — увидите, что там наделали…

— Но кто же? Чьи были самолеты?

— Немецкие.

В районе базарчика, на улице Щербака я увидел первые незабываемые разрушения войны. Тут упали немецкие мины. Замысел был в том, чтобы минами забросать бухты, но несколько мин упало и на берег.

Из стен разрушенных домов были выброшены кровати, утварь, детские игрушки. Убитых и пострадавших уже убрали. Бродила кошка.

Жизнь города начиналась, как всегда. Открылись парикмахерские. Я зашел в парикмахерскую на Ленинской, и в то время как меня брили, включили радио, и все мы услышали речь, не оставляющую сомнений в том, что произошло и что началось.

Это началась война.

Вскоре все мы, москвичи, захваченные здесь ею, обзаводились вещевым довольствием в штабной каптерке. Молодой веселый каптенармус обращался с нами довольно насмешливо, и мы, сопя, подбирали по росту кителя и шинели, а главное — фуражки первого срока.

Но, думается мне, не тогда я был зачислен в кадры Черноморского флота, когда с любопытством к самому себе надел черную фуражку с эмблемой морского командира и задорно посмотрел на веселого каптенармуса, а, право, тогда, когда на разрушенной улице Щербака среди развалин я увидел маленький парусный кораблик со сломанной мачтой.

Кораблик взлетел бушпритом кверху и кренился на самом гребне щебня, как на волне, как бы несомый дальше этим жутким каменным шквалом — с повисшим парусом, один, без своего недавнего капитана.

Только кошка, жалобно мяуча, ходила возле и обнюхивала его.

Я подобрал кораблик и решил беречь. Буду беречь его и дальше, потому что именно в тот момент я сильно почувствовал, что во мне существует воля, способная противостоять этому шквалу. Я почувствовал тогда необходимость беречь эту свою

силу, беречь в чистоте и готовности, — только это даст мне потом радость, потом, очень потом, когда действительно «уже не будет войны»… О, как хорошо тогда будет!..

Все будет тогда, а сейчас так нужно, так необходимо письмо из Москвы и командировочное свидетельство на Одессу.

Сентябрь.

К Одессе мы подошли ночью. Сбавив ход, приближались к повороту.

Справа от нас, в районе лиманов, вспыхивали быстрые зарницы пушечных залпов, наблюдались взрывы, пожары, чернильно-синее небо прочерчивали цветные трассы огня…

На Донском плесе

Нам, московским литераторам, зачисленным в кадры Действующего Черноморского флота с первых дней войны, разумеется, не терпелось понюхать пороху, но начальство пе торопилось.

Драматические противоречия войны постигались не сразу. Были непонятны и мне доводы начальства, вдруг командирующего меня из Севастополя в штаб Азовской флотилии.

Что делать в Мариуполе, который еще представлялся глубоким тылом, или на Дону, когда на Перекопе уже идут бои и только накануне я вернулся из осажденной грохочущей Одессы!

Однако новое назначение нужно выполнять: командирские нашивки и золотистый краб на черной фуражке обязывали. И вот уже передо мною светло-зеленая пустыня Азовского моря. На старом задымленном пароходике, держащем курс на Мариуполь, я вспоминаю стихи Багрицкого о рыбачке на Азовском море и утешаюсь тем, что увижу с моря новый порт Мариуполь, а потом и Таганрог, городок Чехова. Чайки. Безмятежное осеннее небо. Но вот идет на нас дозорный катерок, с него что-то кричат в рупор, на мостике какое-то замешательство. Меня приглашают к капитану, и он, заметно побледнев, сообщает мне новость:

— Мариуполя нет.

— Как так — Мариуполя нет?

— В Мариуполе немцы…

С минуты на минуту над нами могут появиться «юнкерсы».

— А все наше оружие, — говорит капитан, — старая винтовка у старпома и ваш пистолет: будьте в боевой готовности!

Все меняется мгновенно. Уже было завязавшиеся на борту романы трагически прерываются, исчезают улыбки. Выступает на первый план все, что есть самое серьезное в жизни и судьбах людей. Что-то рушится.

Война на Азовском море, на Дону и на Кубани описана мало, а между тем есть о чем рассказать, всякое было и в десантах и на кораблях, и, может быть, самое интересное при встречах, в разговорах, в беседах, в признаниях людей — таких разных, так по-разному начинавших войну, тут действительно было как-то легче сходиться с людьми и они открывались свободней. Вскоре я уже не роптал. Всюду, на этом приморском южном крае грандиозного фронта войны нуждались в добром слове собеседника, журналиста, товарища. Было ясно, что печати здесь предназначена большая роль, и наша скромная редакция

трудилась вовсю: каждый из. нас был и организатором, и корреспондентом, и правщиком, и если нужно, то и наборщиком. С первых же дней начались разъезды по частям и соединениям, и вот тогда-то мы встретились с Цезарем Львовичем Куниковым, московским журналистом. На этот раз на просторах донских плавней.

Хороших товарищей оставил я в Севастополе, хороших товарищей нашел на Азовском море.

Теперь имя Куникова известно широко. С его именем связан блистательный успех одного из самых интересных эпизодов войны на этом театре — высадка куниковцев на Мысхако под Новороссийском. Еще не раз воображение писателей будут привлекать этот сюжет и его герои. На мой взгляд самое интересное — это необыкновенная судьба самого Куникова. Глубоко мирный интеллигентный человек, отличный журналист, очень быстро стал выдающимся военачальником. «Куниковцы»… «куниковская тактика»… «куниковские лихость и бесстрашие»… Кто из черноморцев не старался подражать этому искусству? Немало удивительных встреч приносит война, многому она учит, не все сохраняет память, и тем больше ценности в том, что удалось сохранить в записных книжках, в газетных вырезках, в письмах. С особенным чувством перебираешь теперь эти записки и удивляешься, как удалось сохранить их в обстановке, чего там скромничать, прямо смертельной опасности.

Каждый, кому посчастливилось встретиться с командиром, подобным Куникову, всегда будет помнить дни, недели, проведенные вместе в ту грозную и душу возвышающую пору. Секрет его обаяния заключался именно в том, что людей, его окружающих, он невольно делал лучше, отважней, честнее, увереннее в себе и в судьбах войны, — а как это было нужно каждому!

Признаться, счастливая встреча была неожиданной. Имя московского журналиста, редактора газеты «Техника», я успел забыть, и он еще не был тем прославленным майором, который через полтора года повел десантников на Станичку, он носил скромные знаки старшего политрука — и только, хотя и командовал лучшим отрядом водного заграждения.

Я направлялся именно к командиру отряда. Мне указали на рыбачью хижину на берегу широкого протока обильной донской дельты. С порога я услышал голоса.

— Все они пишут не так, — говорил один. — Вот ответь мне, товарищ старший политрук, ответь, как надо сейчас писать?

— Милый мой, сейчас в газете нужен пафос, как никогда.

— Какой там пафос?!

— А ты думаешь, легко найти нужные слова? Вот о нас, о наших ночных налетах, о схватках врукопашную — как сказать? Пошли — вернулись. «Отряд старшего политрука К. захватил языка и вражеский пулемет». Вернулись. Захватили. А сколько всего было за эту ночь!.. Журналист должен сам развернуться, в этом его дело. Должен видеть и то, чего на самом деле не видел. Должен уметь, как Толстой, если нужно, про конское копыто две страницы написать.

— Ты, товарищ Куников, загнешь! Сам — писатель!

Спорили Куников и политрук отряда Шкляр.

На войне любая встреча нисколько не удивляет, а может только порадовать. Порадовался и я встрече с москвичом. Но, боже, как уже далеки были звон московских трамваев, тенистый Цветной бульвар, где в редакции газеты «За индустриализацию» я познакомился с Куниковым. Он выглядел совсем иным.

— Но у вас еще есть что-то московское, — оглядывая меня, пошутил Куников, — и знаете, это очень приятно.

— А вы и в самом деле бедуин, — отвечал шуткой и я.

Я уже знал, что в узком кругу Куникова называют бедуином, за смуглость лица и темные глаза, так глядящие из-под ушанки со звездочкой, — это я увидел сейчас сам, — что больше всего в этом взоре запоминались крупные белки.

Куников разбирал и чистил автомат.

Глубокая осень на Дону была холодной, то и дело со взморья задувал низовой ветер, беспощадно гнал воду, заливал обширную донскую дельту. Такая погода стояла и в тот памятный вечер.

Не только командир — все бойцы отряда в бушлатах и ушанках готовились к очередной диверсионной вылазке на берег, занятый противником. Точили вскоре ставшие знаменитыми ножи-кинжалы, выложенные самодельной инкрустацией. В этом состоял не только особый шик, ножи были действительно незаменимыми в тесных ночных схватках.

Как всегда, отряд разбивался на несколько групп. Основная задача была — взорвать на станции Синявка поезд с боеприпасами, и эта операция поручалась группе под командой главного старшины Пшеничного.

С наступлением темноты двинулись катера, мы с Куниковым шли на одном катере.

Как бы продолжая разговор, начатый политруком Шкляром, Куников говорил:

— Не сомневайтесь. Приехали вовремя. Увидите много интересного. Пшеничный свое дело сделает. Он один из лучших бойцов отряда. Только сумейте рассказать о нем с пафосом, так, чтобы зажечь других… Прекрасное дело! Какое интересное и

важное дело у вас в руках!

— Так это же и ваше дело.

— Нет, мое дело теперь другое, а на вашем месте я бы уже собрал книжку о моряках и десантниках-азовцах. Азовцы! Так бы я книжку и назвал: «Азовцы»! Сколько интересного и важного совершается каждый день, каждый час — и уходит. Нельзя! Нельзя! Народное надо оставить народу. Вот опять-таки тот же Пшеничный — какой добрый, какой русский парень. Воплощение русского парода! Вы видели, какие у него глаза? И вот этого добряка уже раскачивает та самая ярость оскорбления, о которой писал Толстой и о которой поется в песне… Я уверен, что и о Пшеничном сложат песни. А вы будете кусать себе локти, если не сумеете все это выразить. Война только начинается, но именно уже теперь нужно чувствовать главное… У каждого оно проявляется по-иному, но суть одна. Вот уже действительно общее дело, философия общего дела, дела жизни и смерти, чести и бесчестия, человечности и бесчеловечности. И каждый из нас должен быть безупречным, достойным этого дела. Такому, как Пшеничный, и задумываться над этим не надо, у него это в крови, у него и душа и мозги такие, а нам, ученым, интеллигентным людям, иногда требуется еще кое-что отковырнуть или поставить мозги на место. Но я такого мнения, что истинно интеллигентный человек своею сутью подготовлен к любому подвигу — не устрашусь этого слова, — да, к подвигу, если покажут на него. Вот я всегда вспоминаю одну примечательную историю. Может быть, вы сами ее знаете. Очень любопытно. Вы слушаете меня? Что-то мотор забарахлил… Так слушайте. Это было незадолго до войны. Имен не назовем, важна суть дела: в стратоплане поднялись трое — два стратонавта и с ними специалист-ученый. При спуске непорядок, угрожающий непорядок! Одно спасение — облегчать аппарат, которым управляют двое. Кто же должен прыгать? Разговаривать некогда, нужно только действовать и немедленно. И вот немолодой ученый решительно заявляет: помогайте приготовиться и открывайте люк…

— Выпрыгнул?

— Выпрыгнул.

— Ну?

— Представьте себе, — с выражением счастья продолжал Куников, — благополучно. — Куников помолчал, сильный ветер трепал на нем плащ-палатку, ее край бил меня по лицу, уже давно стемнело, все казалось необычайным и возвышенно-интересным.

Я тихо попросил:

— Ну, рассказывайте еще.

— А будете писать книгу?

— Вуду.

— Даете слово?

— Даю слово.

— В таком случае, слушайте. Вот интеллигентность: ангел, спускающийся к нам на парашюте! Такими мы должны быть все. А вы уже убивали? — вдруг спросил он, наклонившись ко мне.

Вопрос прозвучал неожиданно и был непростым. Как бы давая мне время прийти в себя, Куников отвернулся и сделал несколько распоряжений рулевому:

— Держи на шалаш, там высадим корреспондента. Пшеничный впереди?

— Пшеничный уже ушел. Вон — ихний мотор. Еще слышится.

И в самом деле, в темноте издалека доносился рокот мотора. Куников осмотрелся, прислушался, сказал:

— Пожалуй, уже пора глушить, — и пояснил мне. — Мы уже, собственно, на переднем крае, в виду у противника. Вон там, — он показал рукой, — Синявка. К точке высадки мы обычно подходим на веслах, а вас сейчас оставим здесь в шалаше, вы не будете один, там есть партизаны. Хотите курить — курите: скоро уже нельзя будет.

Сильный ветер обдувал теперь то с одной, то с другой стороны: моторка часто меняла галс, лавируя в камышовых зарослях и то и дело снова выходя на открытое место. В темноте был едва заметен волновой шлейф за кормою. Ветер посвистывал в камышах.

Мне смутно думалось, что ради такой ночи простительно было оставить даже незабываемые холмы Севастополя, подвал, служивший нам, сотрудникам «Красного черноморца», бомбоубежищем… Но нужно было отвечать на вопрос — убивал ли я? Куников не забыл его и, видимо, ждал ответа. И я ответил честно.

— А я уже убивал, — строго сказал Куников. — И вот что я вам скажу: думаю, война с того момента и начинается, когда ты должен убить врага. Нелегко, конечно, убивать даже врага, фашиста. Но я должен стать вровень с другими, с Пшеничным и его товарищами. Подумайте, ведь нам доверили лучших бойцов страны — и мы не смеем обмануть их. Знаете, теперь я даже сапоги снимаю каким-то особенным способом — залихватски и самодовольно. А почему? Мне приятно сознавать, что я не хуже других. Десантники орудуют ‘ножами, это неизбежно во время наших ночных налетов на тылы, такая уж у нас доля, но никто из них от этого не становится хуже. Я потом смотрю в их глаза и вижу молодые, светлые человеческие глаза, и я учусь у них. Есть

прямая связь между тем, как командир учится, и тем, как он воюет. Учись сам и учи других, не теряя из виду ни одного человека. Если мы это сумеем, мы сделаем чудеса… Кто-то говорил: «Воевать — это значит уметь ждать». А ждать, конечно, трудно. Быт войны труден. Но в том-то и дело: не превращай дело войны в быт, а старайся подняться над ним, не расслабляйся, не расстегивай воротника…

Моторка ткнулась в шумящие камыши. Монолог на ночном донском плесе, на переднем крае войны оборвался, но никогда не забыть мне этой ночи и того, что постиг я тогда. Все, что произошло несколько позже, наутро, многое, что было еще позже — и через год, и через два, думается мне, имело прямое отношение к впечатлениям этой ночи.

…Иван Пшеничный задание выполнил: поезд с фашистским оружием был взорван. На отходе группа Пшеничного была настигнута. У азовцев оставалось только одно преимущество, одна надежда — знание местности, и они умело воспользовались этим преимуществом. Отступление прикрыл сам главный старшина. Он принял на себя весь удар. Его товарищи ушли, но Иван, защищаясь, был жестоко ранен и уже не мог отойти.

Ветер с рассветом не упал — усилился, вода в Дону все прибывала. Товарищи Ивана Пшеничного еще видели, как волны сомкнулись над прибрежными камышами, в которых засел раненый Пшеничный, как будто теперь сама природа старалась преградить врагу доступ к тому месту, где главный старшина Иван Пшеничный принял неравный бой.

Именно с этого эпизода мы с Юдиным, редактором «Красного азовца», начали составлять книжечку. Слово, данное мною Куникову, было выполнено. Вскоре в нелегких условиях жизни прифронтового рыбачьего поселка книжечка была отпечатана и выпущена сравнительно большим для тех условий тиражом. И называлась она так, как предложил Куников: «Азовцы». И я знаю, что позже отец Малой земли майор Куников книжечку похвалил.

Он больше не спрашивал о том, о чем мужественно, открыто спросил меня однажды в донских камышах. Но что бы там ни было, мне верится, что и я старался делать свое дело так, как учил понимать его Куников.

Сейчас эта книжечка — «Азовцы» — составляет несомненную библиографическую редкость. Она хранится у меня на полке среди самых дорогих мне книг. Не стыдно гордиться ею, как любой литератор может гордиться самым дорогим для него произведением, жаль только, что в книжку не попала песня о бойце морской пехоты Иване Пшеничном: слышал я, что поют эту

песню на Дону и в Приазовье.

Игнат, мы встретимся в степи

Едва ли есть что-нибудь другое более ценное, радостное, желанное для фронтовика и окопника, озябшего и отсыревшего в землянке, чем слово одобрения, привета, любви и надежды от любимого человека — письмецо из дому.

Но есть среди этих замусоленных цидулек, часто без марки, сложенных треугольничком, и другие — письмецо от фронтового товарища. О таком письме я и расскажу.

Как ни странно, все еще недостаточно понято значение личных архивов участников войны, а тем более — писателей, журналистов, работников искусств. А между тем ящики письменных столов продолжают наполняться. Не пора ли объединить эти усилия в мирный труд военного братства — по примеру все заметней развивающихся объединений любителей книг или филателистов.

Разумеется, и у меня есть ящики, забитые письмами и папками. Среди этих писем немало откликов на печатные выступления, все это дорого сердцу литератора, но, повторяю, есть особенно дорогие письма, и они не всегда следствие той или иной публикации, но всегда вызывают волнение воспоминаний о чрезвычайно значительных жизненных встречах, делах, думах…

Многое совершалось, можно сказать, у тебя на глазах, и нелегко выбрать из кип писем и записок даже самое значительное — значительное и дорогое вам, как для матери значителен каждый день, прожитый ее ребенком… Ну, вот передо мною замызганное письмо, в котором не сразу теперь разберешь отдельные слова. Это письмо Игната Постоева, старшины Черноморского флота, с которым я познакомился на борту крейсера «Красный Кавказ» в первые месяцы Отечественной войны. Позже судьба снова свела нас на Мысхако, под Новороссийском, па земле, больше известной под именем Огненной. Я знаю, что есть опасность: письмо может показаться как бы стилизованным, но, поверьте, это не так. Напротив, этот фактический документ — лишнее свидетельство тому, каким путем народный, я бы сказал эпистолярный фольклор иногда становится основой стиля крупных писателей, много успевших сделать в своем жанре.

Благодарю случай, сохранивший у меня это письмо. Как не прочесть его? Прочтите письмо Постоева до конца: такие письма попадались и в годы гражданской войны. Этот язык, эти интонации обогащали, повторяю, стиль многих произведений, ставших теперь классическими. Но именно этот знакомый голос,

безыскусный, горячий, взволнованный, полный чувств и воли бойца за народное дело, он-то и наделен той силой, какая сообщается и другим:

«Дорогой товарищ писатель!..

Как можете вспомнить старшину 1-й статьи Игната Постоева, мы расстались с вами в ночь на 1 июля, когда моряки уходили на фронт для решительного сражения за Севастополь, главную базу ЧФ. Вы, товарищ писатель, знаете сами: многие плакали, многие грудь зажимали… но я начну вкратцах: уходя из Камышовой, где мы с вами расстались у борта, политрук Кудрик взял двадцать человек краснофлотцев плюс тридцать бойцов разведки, и в два часа ночи меня с личным составом передали в отряд и направили на Малахов курган, откуда на рассвете, теряя последних бойцов, отряды начали отступление в город для ведения уличных боев, и в пять часов утра был принят неравный бой. Комиссар, назначенный личным составом, товарищ Климченко воодушевлял бойцов как сын своей Родины — своих братьев. Он вместе выходил в тяжелые рукопашные схватки и пал в бою за Севастополь на улице Фрунзе. Там же, у гостиницы «Интурист», я тоже залился кровью, меня полоснуло по ребрам, как ножом. Бой вели до десяти часов вечера. От пламени был такой шум, что бойцы теряли возможность по стрельбе вносить ясность, где же противник, на каких рубежах наши войска. Когда же настала ночь, без бури шумящая во всех направлениях, мы получили прямой приказ из ФКП — оставить город и отступать обратно в Камышовую. И мы покинули город славы и чести. Многие плакали, многие грудь зажимали. И это был рассвет, и враг начал гнушаться над нами тучами своих самолетов. Но еще были живы Кудрик, Гром и Голик. Это наблюдал другой коммунист, сигнальщик Охрименко, который нас нашел, но весь был обгорелый, не в силах больше держать оружие. Меня положили в госпиталь. Тут над нами была земля.

Темнота и глухота. Про Севастополь и бойцов-товарищей мы могли только думать. И я думал и вспоминал тот простор, что был у меня до войны: ведь батька мой, тоже Игнат, из донских казаков, а жили мы перед войной под Курском в знаменитой Стрелецкой степи, где батька был объездчиком…

При таких обстоятельствах ждали эскадру. Эскадра не пришла, потому что поперек моря стояла стена из фашистских бомб, блокирующих Севастополь…

Так суждено было дождаться нам сверхадского плена. Выволокли нас из подземного госпиталя, лежали поверх праха развалин, под опрокинутыми столбами, под тяжестью телеграфной проволоки нечеловеческие страдальцы. Тяжело раненных он не взял никого — и тут погибли Охрименко, Даровой, Гром, Голик, много людей, кого вы можете вспомнить, товарищ писатель. Симферопольскую тюрьму назовем домом трупов.

О том, как я совершил побег, можно рассказать. Под конец работ я остался в кустах. Кустами и скалами я пробирался в Керчь, прибыл и через Еникальский пролив безлунною ночью переплыл па кубанскую сторону. Вот как это было, верьте слову бойца перед флотом. Я получу учрежденный защитнику Севастополя знак, ибо не знали таких сражений до последнего времени, какое сражение принял на себя Севастополь. Но за последнее время битва на Малой земле Мысхако — тоже битва истории за народное счастье. Шесть дней апреля с 18-го по 24-е земля гудела под нами, совсем чугунный котел, куда бы мы не переползали, но фашистским эскадрилиям и дивизиям, пришедшим в движение, не удалось стряхнуть нас с плацдарма под командой майора Куникова. Этим сражением немцы рассчитывали начать победы текущего года, ибо солнышко уже пригревает, а у них на счету еще ничего нет для посылок домой. Но недаром мы наглотались слезы и горького дыма уже тогда, в Севастополе. Не в первый раз горело железо, за которое мы брались руками, чтобы остановить чудовищные танки. Приезжайте, дорогой писатель, вам надобно видеть наших ребят: загорелые, черные, в касках, только глаза блестят. Не может погибнуть такой человек. Тут же ни одного, кто бы не завел персональный счет с немцем, если не в Севастополе, так в Одессе, а не в Одессе, так в Керчи. И вот у меня вопрос: зачем говорить, что у немцев снова была внезапность. Откуда звук такой? Я это и тогда говорил: не надо утверждать. Я это и сейчас повторяю: танки идут с улиц Новороссийска, и бойцы уже не стоят на месте. Слева бьет бронебойщик Потеря, парень из куниковцев, справа — кто-то другой, и вдруг наш Потеря наложил на плечо токаревское ружье, почти двадцать кило, и с этой штангой побежал по буграм за

танком, кричит: «Догоняй, требуха, а то прорвется», — и бежит с бугра на бугор, и слышим опять бьет ПТР, а немцу нет ничего страшнее. Вернулся, запыхавшись, но объясняет: «Боялся не догоню». Не погибнуть таким людям.

И этот бой торжества, как знаете по государственному сообщению, мы в нем уложили более семи тысяч фрицев, мы не видим сейчас земли — одни серые трупы, имевшие целью сбросить бойцов Малой земли в Цемесскую бухту. Город Новороссийск мы видим перед собою с восхода до звезды, и кричим: «Врешь, гнида, вытравим!»

Такой подбили немцы итог, рассчитывая начать счет победам и молниеносный захват Кубани до источников нефти. Кто не рад видеть, что бойцы заставили застонать вражью силу по фронту — от Малой земли далеко за Черное море, до наших степей, до Стрелецкого заповедника под Курском.

Но, кажется мне, дорогой товарищ писатель, что не дело моряку засиживаться под землей и здесь тренькаться с немцем. Не пора ли бойцам вернуться на корабли? Не пора ли на морских просторах возобновить бой за просторы степей наших? Ох, видим, видим, вьется, вьется веревочка!.. И нет уже мне покоя во сне, ни за котелком, а обращаюсь я к вам, товарищ писатель, возьмите это на заметку и дайте в газету нашу «Красный черноморец». Пишу вам на борт краснознаменного крейсера «Красный Кавказ», скажите свое слово. Думаю, скажет свое громкое слово и прославленный командир корабля, капитан 2-го ранга Ерошенко! Ставлю восклицательный знак, а восклицательный знак означает, что слово мое кричит. Возвышает голос моя военная совесть. Из-под тяжкой обиды, что долго не чую под ногами палубу, из-под обиды, как из-под земли, кричу я, хотя море почти не вижу, а оно рядом. Помогите мне. А история дней моих описана выше…»

Вот не вся история дней Игната Постоева, и письмо это мне и дорого, и особенно живо, говорит горячим своим голосом, как человек, сидящий за одним со мной столом, живо и дорого потому, что, к счастью, стала мне известна и история дальнейших дней Игната Постоева, старшины первой статьи Черноморского флота.

Признаюсь, вернуть его на крейсер не удалось, хотя на Малой

земле с Постоевым мы и повстречались.

К этому времени уже формировались части морской пехоты для отправки на другие фронты, ушел с этими частями и Постоев, а о его дальнейшей судьбе я узнал уже совсем недавно, прошлым летом, после первого знакомства с людьми и сказочными землями прославленной Стрелецкой степи, государственного заповедника под Курском. Много интересного успел показать мне там даже за короткое время директор заповедника, приветливый, словоохотливый, открытый человек Алексей Михайлович Краснитский. От него же узнал я, что среди его работников есть бывший моряк, черноморец. «А кто такой? — спросил я. «Знатный моряк, — отвечал улыбаясь, Алексей Михайлович, — не кто-нибудь — старшина первой статьи, и на кораблях плавал, и в морской пехоте отличался, а тут, на Курской дуге, был тяжело ранен, отстал и потом вернулся к нам, в Стрелецкую степь. Он наш потомственный гражданин, еще батька его тут объездчиком служил…» — «Да кто такой, — не стерпел я, — как фамилия?» — «Постоев», — последовал ответ.

К моей досаде, Игната в эти дни в Стрелецкой степи не было. Иногда, с разрешения Краснитского, его отпускают с детьми в роли гида на заглохшие позиции великой Курской дуги. Но Краснитский обещал сказать Постоеву обо мне и передать мою просьбу прислать весточку.

И уже совсем недавно я получил от Игната Постоева еще одно письмецо:

> «Помните, Сергей Александров (Постоев так и писал: Александров, и после горячих сожалений о том, что не удалось увидеться, продолжал), помните, Сергей Александров, как мы с вами талакали в часок бомбежки в землянке на Малой земле, а то и раньше — на «Красном Кавказе», талакали на крейсере, как хорошо быть на земле: тут и ковыль простой и вереск, белые анимоны, луковицы бесчисленного рода, ирис и тюльпаны… А маки уж, маки!.. Все торопится сосать из своих запасов, как те же суслики и мыши — лишь бы от знойного времени выдать свою красу перед небом и людьми.
>
> Значит, трава, птички, небо, и прямо в лицо несет духом от тех трав: а то вдруг и обдаст тебя всего пылью, и как сладко от той пыли.
>
> А там, то есть на корабле, на открытой палубе, конечно, страшновато, вот уже видишь, оторвались от стервятника бомбы и посыпались мелкой цепочкой на

корабль по его курсу, и только славный наш незаменимый командир товарищ Ерошен-ко делает восемнадцатый кардинат, и бомбы, смотришь, раз, раз — ложатся в стороне справа по борту. Пыли нет, а зато осыпало брызгами. Все гудит. И в тебе самом все гудит. А? А теперя, дорогой Сергей Александров, все Стрелецкое море перед нами. Что ни день — то новый цвет, то розовый, то лиловый, то голубой. С утра уже поскорее бежишь посмотреть, какой цвет сегодня цветет. Ветерком обдаст, и вроде как бы сам цветком сделался. Это же все у нас научные травы. Какими были они за двести и за триста лет еще при Иване Грозном или Годунове, наука бережет их и изучает, а заодно — всяческая пчела, шмель и другая насекомая. Что уж землероек и мышат — что дождевых червей!

И той же весной, прислушайтесь только, что происходит: у стариков слезы стоят в глазах, когда в полночь соловьи заливаются и норовят один другого перепеть. А с рассветом исключительных цветов, необыкновенных цветов облака идут и идут. И не жди, будто из- за края облака — того и гляди — высыпят «хейнкеля» и «юнкерсы».

Вот когда бы вам приехать сюда, дорогой писатель Сергей Александров, старый фронтовой товарищ, это вам не бум-бум то справа по борту, то слева…»

Согласен, дорогой фронтовой товарищ, Игнат Игнатович Постоев! Обещаю твердо: приеду, непременно встретимся мы с тобою на этот раз в степи среди трав и птиц, под облаками, исполненными прозрачной мирной прелести.

Книга моряка

От людей, обычно избегающих шума и многолюдия, не один раз приходилось мне слышать признание в том, что есть, однако, редкие виды толпы как редкие виды растительного царства, не только не пугающие, но даже привлекающие — и это верно.

Я сам очень люблю жизнь в высоких многолюдных залах почтамтов, в музеях,

Необыкновенно интересно наблюдать многообразие сдержанных человеческих страстей, невольное и бессловесное выражение чувств перед произведением искусства или у стола, за которым пишется — распечатывается письмо. Как хорошеют лица! А то вдруг видишь — постигнуто сильное чувство — недоумение или радость. И даже горе, чужое горе в эту минуту, вызывая участие, быть может, не останется бесследным и для тебя.

Особенно интересна картина того, что следует считать истинно человеческой духовной дисциплиной — в залах бесшумных и чистых, обильно озаренных светом дня или, наоборот, таинственно осененных кроткими лампами под зеленым абажуром. Это — читальные залы библиотек. Тут повседневно совершается одно из обыкновенных чудес человеческой жизни — чудо книги.

Откуда-то из глубин, из далей книжных собраний и фондов приходит желанный томик. Покуда он не понадобился юноше, девушке, профессору или солдату, он сам, как пожизненный солдат многотысячной армии, стоит где-то на полке, показывая только свой корешок — мундир, грудь со старой медалью… Но вот по первому слову томик переходит в руки девушки с модной прической. И с какою неожиданной грациозной серьезностью темноволосая девушка тут же углубляется в книгу! Смотрите: беззвучный голос уже сообщает ей то, что она хочет услышать… И как радостно посмотреть эту тайную встречу книги с человеком!

Вот что приходит на ум.

Большое удовольствие испытываю не я один за этими столами в удобном читальном зале Севастопольской морской библиотеки. Прислушиваюсь к шелесту страниц под пальцами девушки, а то молодого капитан-лейтенанта в золоте погон, а то седого штатского, перед которым возвышается солидная стопа фолиантов. Кто он? Может быть, инженер-кораблестроитель, чудаковатый, каким был и его наставник знаменитый академик Крылов. А может быть, он просто капитан в отставке, один из защитников Севастополя, пенсионер, охотно рассказывающий

внукам о давних годах восстановления Черноморского флота, о битвах с фашистами на Сапун-горе…

Удивительный город! Никогда Севастополь не перестанет вдохновлять: он сам — книга.

Уходят поколения людей. Сменяются поколения домов и строений, кораблей, вековых деревьев на Приморском бульваре. Стаптываются каменные ступени, называемые здесь по-морскому — трапами. Но только все сильнее ощущение святости этих камней, гражданской гордости, возбуждаемой хрониками и легендами.

С Севастополем всегда были думы всего парода. Ни в каком другом городе нашей страны не услышишь того, верьте мне, чем отдает эхо в старых севастопольских переулках, на его узких трапах, и это было всегда.

С этим городом всегда были думы всего народа. О нем, как о своем будущем, задумывались Толстой и Тургенев.

Севастополь признают отцом любимых образов Александра Грина, его фантастических городов — Зурбагана, Гельвью. На своих книгах, подаренных севастопольцам, их библиотеке, Константин Паустовский писал: «Любите, берегите свой город — любимый город Александра Грина… Севастопольской морской библиотеке от автора, мечтавшего с раннего детства быть моряком-черноморцем».

И не только Паустовский, Александр Малышкин, не только Леонид Соболев — каждый моряк, а тем паче черноморец, помнит каменные ступени, шелест этих садов, все голоса морской и портовой жизни в этом городе, каждое слово этой книги.

Немного хроники: в недавние годы больно было видеть разрушения войны, остающиеся на холмах среди новых пышных тяжеловесных строений. Не все и сейчас кажется мне безупречным в плане реконструкции. Архитектура — это не есть безудержное поглощение материалов, количество, вес, и она мстит за непонимание законов соразмерности. Мстит и история за пренебрежение к ней. Кажется, Гамзатов удачно сказал: тот, кто стреляет в прошлое из ружья, получит выстрел из пушки… Однако отлегло от сердца, когда однажды все мы увидели восстановительные работы над бывшим собором Святого Владимира, усыпальницей народных Героев — Лазарева, Корнилова, Нахимова, Истомина…

А теперь ближе к делу. Приятно знать, что одно из лучших зданий города отдано под бессмертную Морскую библиотеку, начало которой положено именно Лазаревым и Корниловым.

«…ты все мечтаешь о будущей славе Севастополя, но не все делается так, как хочется!.. Вот уже лет 16 и более, что в Севастополе ни одного пожара не было… И надо было же беде этой обрушиться на самом лучшем в городе здании… Мне случалось видеть многие библиотеки, которые богатее нашей книгами, манускриптами и прочим, но чтобы видеть их в таком изящном виде, как бывшая наша, мне не случалось…»

Так писал Лазарев своему ученику Шестакову более ста двадцати лет тому назад, когда черноморцев постигла беда: сгорела только что отстроенная библиотека, осталась только — и сохранилась до наших дней — романтическая Башня ветров, с которой Нахимов наблюдал в подзорную трубу приближение вражеского флота.

Не только океан, но и книга образовывает моряка, а по всему Севастополю, по признанию Лазарева, в те времена едва удавалось собрать более трехсот томов книг.

Большими трудами далась учредителям библиотека, имевшая целью просвещение моряков. Великие граждане и флотоводцы трудились для своих современников, героев Наварина и Синопа, но они имели в виду так же и тысячи будущих моряков, а вместе с ними — и нас.

В наши дни ни один из писателей, посетивших Севастополь, не проходит мимо — в меру возможностей пополняет и книжные фонды и хроники бесед, литературных чтений в аудиториях и на кораблях флота. В прежние времена формы контакта были иными. Надо думать, к библиотеке имели отношение и артиллерист четвертого бастиона Лев Толстой, и публицист Чернышевский, считавший библиотеку средоточием всей умственной жизни черноморских офицеров. Менделеев, Айвазовский, адмирал Макаров были постоянными и щедрыми жертвователями. Надо думать, и Чехов, и Куприн — Ялта ведь рядом — не раз поднимались по ступеням нового здания, отстроенного после пожара, описанного Сергеевым-Ценским: «… на площадку, на которой установлены были оптический телеграф и телескоп, вела мраморная лестница, украшенная сфинксами прекрасной работы».

Покойный писатель Никандров рассказывал мне, как со ступенек этой лестницы он вместе с Куприным наблюдал расстрел беззащитного и отважного крейсера «Очаков» в 1905 году, вспоминал Никандров слезы, какими плакал Куприн, а в 1917 году и потом в 1920 году с этих же ступеней произносились большевистские речи о матросской и народной воле…

Помню эту лестницу и я. Ласковая женщина склонилась к ребенку и вручила ему книгу, о которой он долго мечтал. То была первая книга, полученная мною в библиотеке, — впечатление сильнейшее, неизгладимое. Все было прекрасно в тот очень давний, очень счастливый день, — первая книга, первая любовь, первое ощущение гражданства, единения с многими другими… Очень жалею, что никогда не удастся мне установить фамилию доброй библиотекарши, а звали ее Любовь Михайловна.

Вот почему с особенным чувством отношусь я к моим старым и новым друзьям, нынешним сотрудникам прославленной библиотеки.

С Надеждой Александровной Ильинской я был знаком давно; не всегда она была седой дамой, но всегда была такой же приветливой, ясной. Грустно мне было услышать от нее рассказ о Берте Эммануиловне Коган, с которой особенно хотелось мне встретиться. Скромная труженица книги — по необходимости оставаясь в Севастополе — она больше года пряталась вместе с книгами в одном из склепов на кладбище, потеряв и дом, и родных, расстрелянных оккупантами. А в мае 1944 года она первая принесла спасенные ею книги в политуправление вернувшегося в Севастополь флота. Берты Эммануиловны не было, можно было только благодарно вспомнить о ней.

Кое-что мог вспомнить и я. Но — да простится мне — я не напомнил Ильинской о невозвращенном долге: именно у нее я взял книги, которые вскоре потонули на крейсере «Червона Украина», пораженном фашистскими бомбами…

Ей-богу, сейчас не вспомню, какие я тогда требовал книги. Читатель всегда разноликий, не нужно думать, что в Морской библиотеке читают только Станюковича или «морской сборник», полным комплектом которого и сейчас гордится севастопольская библиотека.

Временные экспозиции, выставки, передвижка, тематические вечера на боевых кораблях, вернувшихся из плаванья, — это и будни и праздники. Повседневная признательность читателей — разве это не светлые будни? Я знавал одного из старейших абонентов библиотеки, первого командующего морскими силами Российской республики, вице-адмирала в отставке А. В. Немитца. Он не переставал говорить о том, какую роль в его жизни играла севастопольская библиотека, о том, что он, глубокий старик, привязан к ней душою.

— У них никогда не услышишь: нет, — отвечал адмирал. — А это не только признак добросовестности, но и высокой квалификации.

И это, конечно, верно. Сказано отлично, сказано точно.

Удивительное впечатление полусказочного города сохраняется в его морской библиотеке: тот же простор за окнами, то же чувство дружелюбия, то же дыхание истории, высокая дисциплина духа и профессии.

Нигде так не отдыхаю, как в библиотеке. Вот румяный капитан-лейтенант только что сдал толстеннейший том — Кодекс мореплавания и, получив другую книгу, с незабываемой улыбкой удовлетворения (видимо, получил ту книгу, что желал) отходит к своему месту за столом. Девушка с модной прической скромно дождалась очереди, чтобы сдать Ремарка и томик стихов Пастернака и попросить «Введение в высшую математику».

Расторопная Анна Евсеевна неслышно ступает в домашних туфлях, быстро сортирует, складывает, принимает и выдает заказ. Иногда она скрывается за горкой книг, задержавшихся на столе, и опять немолодая женщина осторожно опускает нелегкий груз в шахту и потом выбирает новую партию книг, как рыбак невод. А шахта глубиною в четыре этажа, туда и заглянуть страшно.

На мою шутку: «Да у вас руки, вероятно, в мозолях», — она тихо говорит о том, что и ей, и другим приходилось труднее: во время эвакуации, а потом при восстановлении библиотеки сотрудницы перенесли на своих плечах не один десяток ящиков с книгами.

Увы! Не все было спасено… Но самое главное было спасено и сохранено: преемственность любви к делу, уважение к действию печатного слова, внимание к человеку, уносящему из библиотеки книгу.

В доме книги никто никогда не должен услышать: нет — пусть слышит он:

— Пожалуйста, подождите, сейчас найдем.

Давно достигнуто то, о чем мечтали Лазарев и Корнилов. Иными стали задачи в стране, ставшей иною.

Государство, созданное Лениным, не может не чтить его заповеди о книге, не может не понимать значения слова человека к человеку. Что ж, действительно формы беседы стали другими, но часто и тут видел я, как убедительно иной раз форма сливается с содержанием — становится общим смыслом.

Так я видел румянец волнения, слезу в глазах молодых матросов, когда в предпраздничный вечер, под трубные звуки ветераны Отечественной войны внесли в зал знамена и флаги прежних боевых кораблей — «Червона Украина», «Красный Кавказ».

Встреча молодых моряков с ветеранами была организована Домом офицера и Морской библиотекой.

Славные флотоводцы прошлого не могли и представить себе

что-нибудь подобное. В тот вечер со сцены говорили не только люди — знамена. Знамена развернулись, как книги. Знамена и флаги стали вступлением к чтению долгой книги народных подвигов во имя революции.

На другой день к Ильинской, к Евгении Матвеевне Шварц, отличному библиографу, воспитаннице Морской библиотеки, ко всем их товарищам и подругам, незримо изо дня в день трудящимся в книгохранилищах, пришли десятки читателей с просьбой о книгах: они хотели найти ответ на мысли, возбужденные вчерашней встречей. И никто не отказал им:

— Нет!

Из темной шахты тут же начали поступать книги — лучшее, лучезарное золото мира. И каждый чувствовал: э, тут, гляди, не только книги, тут хранилище человеческого достоинства…

Милые люди, любите книгу! Любите тех, кто нам ее делает и подает — и на берегу, и в море.

О чудаках

Однажды я услышал такое признание:

— Там, за океаном, я вдруг понял устрашающий смысл русского заклятья: «Чтобы тебе пусто было!» Я догадался, о чем тут речь; не так уж страшен пустой амбар, страшна пустая душа.

И верно: очень страшно! Вся история нашего народа, вся наша жизнь, все чаяния наши — против этого. И все-таки тревожит — зловещая тень на некоторых лицах, в душах наших близких, наших детей и внуков.

Вспоминается случай, описанный в газете: большая группа молодых людей видит, как перед ними горит лес. Раздаются голоса — что ж так и будет гореть, не попробовать ли остановить пожар? Но душевный порыв поглощается хладнокровным расчетом некоторых: зачем бежать, потушить не удастся. Рационалисты? Конечно. Но безупречен ли такой рационализм?

Казалось бы, не о чем тут дискутировать. Какой же в самом деле здесь вопрос: что важнее — разум или чувство? Душевный порыв или рационализм? Бескорыстие или корысть? Красота жизни или пустота жизни? Конечно же, человек должен быть и добрым и разумным. В человеке все должно быть прекрасно. Вот самый простой, ближайший идеал человека.

— Да, — отвечают мне, — это так, но в жизни и тут и там натыкаешься на такие углы, что все не просто.

Всех углов не предусмотреть, но я люблю читать наши газеты именно потому, что каждый день они приносят множество разнообразных картин нашей жизни. В сущности говоря, все наши газеты ежедневно в том или другом виде пишут на эту тему: о красоте или о пустоте жизни, о том, что один человек поступил правильно, другой — неправильно, один сделал доброе, другой — злое, несовместимое с нашим идеалом.

Поэзия доброго дела, разумность человеческого взаимопонимания и уважения — как же помышлять о новом обществе, не заботясь о том, чтобы все это стало доступно каждому — и плотнику, и социологу, и ребенку математической школы, и старому большевику, выходившему на баррикады во имя революции!

Недавно в одном из углов неохватной нашей страны, в городе Курске, встретился я с поучительным примером жизненной диалектики, выразительным примером нашей разноукладной, но всегда динамической жизни. Большое удовольствие доставило мне здесь знакомство с людьми, завсегдатаями областной

библиотеки имени Николая Асеева: детство поэта протекало в Курске, здесь он учился.

Много раз я проезжал мимо этого города, окраинной крепости сначала Киевской Руси, а потом Московского государства, видел его на высоком холме, что-то вспоминал, о чем-то мечтал, но как-то не удавалось побывать в нем. С любопытством оглядывал я из окна вагона холмы и перелески, вспоминая, как отозвался о курских местах Тютчев: «… расположение его великолепно и смутно напоминает окрестности Флоренции».

С благодарностью я принял приглашение познакомиться с библиотекой в городе, мимо которого не прошли ни огонь, ни ветер эпохи… Ну, ладно! К делу!

Признаюсь, вид молодого человека, склонившегося над книгой под зеленым библиотечным абажуром, никогда не оставляет меня равнодушным. «Человек, взрастивший дерево или написавший книгу, не умирает». Люди же, чтущие книгу, передающие книгу, — они так же участвуют в ее бессмертии, как и тот человек, который написал ее.,

Дом книги, открытый всем знаниям, молодости и старости, сомнению и надежде, это и есть самый красивый, самый гостеприимный, умный и праздничный дом в любом городе.

Как хорошо, когда и тебя настораживает едва уловимый шелест внимания, милые молодые зоркие глаза, недоверчиво выжидательная улыбка иного искушенного седовласого слушателя! А после нашей беседы один из юношей подошел ко мне с вопросом:

— Вот вы говорите о кибернетике и о книге, о физиках и о лириках, об интеллектуальной поэзии… А как же все-таки понять, что такое счастье? Можно ли считать, что это — поэзия? Я люблю стихи.

Не знаю, нашелся ли я… Но я кстати вспомнил и рассказал юноше об одном моем добром знакомом — черноморском моряке, офицере и педагоге, которого однажды я в шутку назвал апостолом кибернетики, а он мне на это ответил:

— Апостолы всегда имели в виду добро, но крайней мере пеклись об этом. Если и вы имеете в виду добро, сотворение счастья, то вы правы. Я верю, что кибернетика способна помочь этому.

Недаром этого человека иные считают чудаком: военный моряк, кибернетик ищет кибернетических решений мира и счастья!

Преемственность — одна из лучших и благороднейших

морских традиций. Конечно, преемственный интерес внуков к делам их отцов и дедов, к смыслу того, что становится Историей, полезен всегда, но на флоте — особенно: и как раз потому, что тут все меняется быстро и лукаво. Подумать только, многое совершалось еще на глазах наших дедов: боевые корабли сбросили паруса, оделись броней, вооружились башенными пушками и — задымили. Перед глазами моего поколения прошло несколько поколений кораблей, я еще помню черноморских «апостолов» и «святителей», ставших на вечный прикол. Многие моряки-черноморцы, сейчас уже капитаны 1-го ранга, благодарно чтут память первых кораблей красного флота: «Коминтерн», «Незаможник», «Червона Украина»… Эти имена и сейчас еще пробуждают в душах давних военморов воспоминания о радостных приобретениях юности. Немало было и сильного, как первая любовь, и трогательного, и веселого. Были и такие корабли: переделанные из увеселительных яхт, они несли теперь сторожевую службу. Их в полном смысле слова можно считать ветеранами флота. Помню, например, такой кораблик в годы восстановления Тихоокеанского флота: «Боровский». Это почти беспомощное суденышко мужественно несло свою службу, и можно было увидеть его и в Золотом Роге, и у Посьета, и у Де-Кастри, и у берегов Камчатки, и не раз приходилось ему одергивать японских концессионеров. Так вот, когда на первомайском параде тридцать второго года продефилировали многочисленные части краснофлотцев, японский консул — милый старичок, удивленный их появлением, любезно спросил:

— Если позволите, кто, откуда эти моряки?

— Это моряки с «Воровского», — коротко отвечали ему.

Господин консул скептически и вежливо улыбнулся, а когда в том же году на Октябрьском параде, сверкая дудками, прошли целые колонны моряков, консул спросил уже без улыбки:

— Это тоже с «Воровского»?

В штабы и политотделы приходили командиры и политработники. Кавалеристы тут же со звоном снимали шпоры, а на стапелях ни днем ни ночью не затихали работы.

Корабли-предки ушли так же безропотно и самоотверженно, как служили, уступив места на бочках тем, кто лучше ответит требованиям новой эры.

Знавал я и черноморских «старцев», верных служак, боцманов царского флота, еще помнивших в свой черед времена Станюковича, первых наставников красных военморов:

— Что это такое? — спрашивает наш усатый учитель.

— Веревка.

— Нет, военмор, веревка — вервие простое, на флоте веревок

нет, есть концы, — испробуй! — Обхватит руку узлом и так затянет, что завоешь, но морской узел запомнишь навсегда, каждый чувствовал главное: что посеешь, то и пожнешь. Подобные наставления даже нравились. У молодых уже появлялись мечта и воинское честолюбие.

Да, это я помню, и поэтому мне легче понимать нынешнюю молодежь.

Ныне на флоте иное щегольство. Ныне не услышишь многоярусный боцманский окрик, не залюбуешься лихостью и быстротой действий марсовых матросов — иные потребности, иные навыки, иной тон, другая под ногами палуба, другие перед глазами корабли.

Замечали ли вы, как быстро утрачивают недавнюю красоту линий и форм автомобили, выходящие из моды? Еще заметней это на флоте. Старые судостроители рассказывают, как старались прежде придать броненосцу вид устрашающий, особо внушительный, крейсеру — элегантность и легкость. Как будто люди действовали по завету пращуров, стремившихся самим боевым одеянием внушить врагу трепет и уважение.

Нет, в наши дни все обстоит иначе. Спрятаться, ускользнуть, а самому как можно быстрее поймать и поразить цель — вот первое основание современной тактики. Радиолокация, акустика, тончайшая оптика. Автоматическое око и автоматическое ухо. Математическая точность вычислительных машин заменяет острый прищур и уверенность жеста бровастых наводчиков и бомбардиров — какой уж тут многоярусный боцманский окрик!

Взгляните на современный боевой корабль, представьте себе хотя бы эволюцию одной его мачты — от корабельной сосны петровских времен до современной башни, напоминающей пагоду, с множеством выведенных наружу из внутренних рубок управления нервных узлов и усиков: мачты слушают, высматривают, соображают. Всмотритесь в скупые, а то и замысловатые линии обводов, в красоту целесообразности и не доверяйтесь обманчивому впечатлению: да, ракетоносец удивительно мал и хрупок сравнительно с громадами недавних дредноутов. Однако этот хрупкий Давид может уверенно выйти против целой толпы недавних Голиафов. Все, чем богата его страна, вся ее мощь, вся инженерная и техническая мысль народа, наука, идеология, — все в невидимой сокрушительной праще, взнесенной над водой. А под водой? Атомный реактор современной субмарины преодолел, казалось, непреодолимый скоростной барьер дизельных двигателей и позволил могучему кораблю уйти под воду на сроки, достаточные для того, чтобы обогнуть земной шар.

Все так. И тут вместе с грозой морей всплывает главный смысл наших споров и опасений последних десятилетий: человек или машина, о чем разговаривать с ней, с машиной? Как сделать так, чтобы кибернетика стала кибернетикой добра? Вот — книга. Не есть ли искусство печати первая форма кибернетической памяти — и книга всегда учит человека добру. Как же сделать так, чтобы и электроника не уклонилась от этого пути? Идеал социалистический или корыстный интерес общества реакционного?

В стране великой революции на кораблях флота происходит тоже самое, что и на хорошем заводе, в агротехнике, в медицине, в любом научно-исследовательском институте. Наша страна тем и богаче других, что революция приучила всех нас думать о самом важном для всех людей. И, нужно сказать, на наших кораблях тоже думают о примирении физиков и лириков, о сочетании поэзии интеллекта с поэзией чувств, о планомерности рационализма и о красоте душевных порывов. Все это — признак времени, следствие одной и той же причины. Среди моряков флота тоже есть апостолы цифры, знатоки числового языка науки, по особенно дорог — и прежде всего самим морякам — тот, кого при этом можно считать также и хранителем и наследником морской души своих дедов. Такой моряк и в моих глазах представляется характерным для наших дней. Такой и мой добрый старый приятель Николай Сергеевич Трунов, когда-то херсонский мальчик Колька, любимец очаковских рыбаков, сейчас капитан 2-го ранга, кандидат технических наук, одержимый идеей найти и установить кибернетическую программу вдохновения и победы.

Даже беглый рассказ об этом человеке скажет кое-что о новом в жизни флота.

Еще не так давно встречались мы с Труновым у воронежского памятника — Петр Великий опирается на якорь. Вот тогда-то и признался мне Трунов, что он замыслил, а теперь я увидел осуществление его замысла. Все это имеет прямое отношение к характеру человека. Тогда на берегах реки Воронеж было положено начало строительству русского флота и на зеленых берегах этой тихой реки по инициативе капитана 2-го ранга Трунова был создан лагерь для трудновоспитуемых детей — «Бригантина». Смелое начинание оправдало себя.

— А зачем вам нужно это? — помнится, удивлялся я тогда, видя сколько времени и труда тратит на это начинание и без того очень занятый Трунов. И я хорошо запомнил, что ответил мне тогда офицер-кибернетик:

— Вы же, вероятно, знаете опасения Норберта Винера. Это не только его опасения! Как бы не случилось так, как в старинной легенде: силой своего знания мы осуществим свои желания, но вдруг появится призрак, а у нас не хватит силы изгнать его. Это будет призрак страшной войны. Нет, мы не хотим этого, нам нужна формула вдохновения и победы. Как запрограммировать вдохновение? Кто это сделает? Кому довериться? Понять логику машины не так просто, с детских лет нужно воспитывать в человеке способность к пространственному мышлению, а главное — чувство небывалой ответственности за свои мысли. Программист должен быть человеком с чистой душой. Это должно быть первой заботой всякого кибернетика…

Я начал догадываться, что именно побуждает моего друга заниматься детьми, и я сказал:

— Но ведь это дети трудновоспитуемые.

— Чепуха! Не нужно быть Макаренкой или Янушем Корчаком, чтобы и среди «трудновоспитуемых» найти детей со светлой душой, с хорошими задатками. Я верю, что я здесь найду таких.

Для мальчиков и для девочек он добился того, что покоряет обычно детское честолюбие: дети получили флотскую форму, палатки, настоящие автоматы, шлюпки, а главное, заразились труновской верой и энтузиазмом. Более ста ребят с первого же лета всерьез увлеклись романтикой военно-морского дела, они овладели парусом, а их душами — мечта о больших походах.

Как это удалось?

— Да очень просто, — отвечал и на этот вопрос Трунов.

И в самом деле, если тобой руководит одна забота — поделиться с другими тем, что мило и дорого тебе самому, что может помешать сделать это? Возмужалый херсонский мальчик наполнился любовью к морю, к кораблям, к знанию и правде — и теперь взрослый человек, моряк со званием кандидата наук, обогащенный опытом жизни, больше всего хотел исполнения двух желаний: не утаить от других, как может быть прекрасна поэзия моря и как при том приятно трудиться и постигать науку в убеждении, что она может сделать жизнь еще прекрасней.

Наставники Трунова в прославленном ленинградском Высшем военно-морском училище имени Фрунзе научили его не ставить границ там, где их нет, искать истинный горизонт «научного видения», как однажды выразился Иван Павлов. И молодой человек доверчиво и пылко присоединился к тем, кто камень за камнем разбирал «Олимп априорности», по выражению другого великого ученого, Эйнштейна. И вскоре идея создания кибернетического лоцмана кораблевождения овладела всем

существом молодого офицера.

Страна, в которой восторжествовали силы прогресса и справедливости, открыла дорогу и ему, и вот моряк-романтик, человек строгий, точный, справедливый, хочет и машину научить всему лучшему. Он хочет говорить с машиной так, как завещали ему его учителя, — на языке справедливости и вдохновения. Вот, что хочет внушить машине капитан 2-го ранга Трунов!

Еще не очень много учеников у самого Трунова. О, нет! Еще не на каждого юного «бригантинца» можно положиться, иногда еще мало понимания и много еще нужно трудов.

Своим питомцам из «Бригантины» Трунов говорит:

— Ребята, любите парус! Дух захватывает, когда идешь накренившись под ветром. Помните стихи: «Порою близок парус встречный, и зажигается мечта, и вот над ширью бесконечной душа чудесным занята» — стихи Александра Блока, какие хорошие стихи! А как красиво, когда корабль медленно идет к причалу и на баке выстроилась боцманская команда… Любите авральный строй, ребята, но готовьтесь и к тому, что вскоре картина будет другая: всего лишь несколько человек экипажа у цифровых вычислительных машин уведут большой корабль в море и приведут его обратно. Вот так! И у этих машин будете нести вахту вы, вот ты, Корнеев, нли Коля Выставкип, или Саша Борисов, или Юра Орешков…

— Юрка Орешков уже подал заявление в Нахимовское училище.

— Вот и хорошо! А разве Корнеев не был сорванцом, а теперь, смотрите, — начальник штаба.

Конечно, имеется в виду, что сорванец Корнеев стал начальником штаба «Бригантины». За три года пребывания в лагере и дружбы с Труновым многие недавпие сорванцы действительно стали неузнаваемыми, многие из них теперь так же неразлучны с логарифмической линейкой, как прежде — с рогаткой.

— Вдохновение! Надо найти кибернетический шифр этого состояния. Будем думать об этом, — так твердит уже не один только Трунов.

Программа вдохновенной жизни, формула победы должны быть найдены. Это — важнейшая из забот всякого ученого, всякого кибернетика и электроника — в белоснежном ли он халате работника энергетического центра, во флотской ли тужурке недавнего «бригантинца».

Чудаки украшают жизнь, как сказал Максим Горький. И слава

богу, их немало, они есть всюду. И тут, и там встречал я этих удивительных русских людей.

Естественно, что разные люди в жизни берут на себя разные роли. Рационализм рационализмом, но есть еще великая сила жизненного инстинкта, и рациональные мальчики и девочки знают, что им придется любить, растить людей, а может быть, совершать подвиг. Но вот что нужно: нужно уметь видеть добро и уметь помочь ему. Не последнее значение в этом деле имеет преемственность традиций воинских и народных, навыков народной жизни. Как всякий организм, народная жизнь стремится передать из поколения в поколение свои здоровые особенности.

Мы — современники могучего процесса преобразования знаний и умов, а может быть* и характеров. Вот почему неизбежны частые дискуссии на тему «Физики и лирики», «Рационализм и гуманизм», «Роль интеллектуальной поэзии в жизни общества» и т. п.

Все это неизбежно и так же прекрасно, как сама жизнь. Радостно чувствовать движение. Радостно приводить в действие силы добра,

Вечер на Кижах

Оставив за собой Михайловское с одиноким серым парусом на печальном Кучане, а затем и величаво скалистый Валаам на просторах самого большого в Европе озера, на просторах и в миражах Ладоги, иначе говоря, придерживаясь водных путей новгородских и варяжских гостей и разбойников — по Волхову, Ладоге, Свири и Онеге, — мы приблизились, наконец, к Кижским островам Заонежья с их уникальным историко-архитектурным музеем-заповедником.

Все шло благополучно. Путешествие было прекрасно и разнообразно. Выйдя на трассу обновленного Волго-Балта, мы ничем не пренебрегли, и весело пересаживались с элегантного теплохода на неповоротливый лихтер, с лихтера — на баржу — то в Новой Ладоге, то в Вознесенье на Свири, то в Петрозаводске, и тут попали на борт уютного беленького теплохода «Спутник». Суденышко выполняет благородное назначение — культработу среди речников и озерников на отдаленных шхерных фарватерах, в глухих затонах, в шлюзах Беломорского капала.

Нашей конечной целью оставались Соловецкие острова сих полузабытой полусказочной красотой, но «Спутник», оправдывая свое имя, сначала шел на Кижи, миновать которые и мы не собирались.

Плавание по великим русским озерам, к островам дальнего Севера было давней моей мечтой…

Странное дело — ведь я родился на юге, на берегу Черного моря, и таинственность греко-византийских (или скифско-тюркских) названный гор и городов Черноморья и его берегов вплеталась в музыку тех речей, с которых начиналась жизнь: Киммерия, Ольвия, Хаджибей, Пантикопей… Почему же сладко щемило душу, когда в раннем детстве впервые донеслись до меня слова: «Ладога», «Волхов», «Валдай»… Чему учили они, заимствованные из сказок и песен, из художественных картин, первые образы Русского Севера? А учили они, как я понял позже, прежде всего тому, что есть душа. Но это было еще не все. Я понимал: не сразу все уразуметь на этом пути, почувствовать с достаточной полнотой. Еще в Москве меня дружески предупреждала Ольга Дмитриевна Савицкая, руководитель тонких и поэтических реставрационных работ па северных островах.

— Не думайте, что сразу все увидите. Этому надо учиться. А понять еще труднее. Вам странно? Это всегда было странно, — убежденно говорила Ольга Дмитриевна. — Никто не

рассчитывает сразу понять сложный химический процесс, но никого не смущает объем, тонкость, сложность дела, которым занимаются реставраторы. Нет, не может быть каждому доступно понимание, почему купола кижских главок в чешуйчатом лемехе (чем они и должны быть покрыты) в дереве прекрасней, чем в железе… А старые мастера понимали, — не без горечи строго заметила тогда Ольга Дмитриевна, сосредоточенно помолчала и снова зажглась милым смуглым румянцем. — Разве понятно, что именно так волнует нас в одних этих словах: «Кижи»… «Волхов»… «Ладога»… «Онега»?.. Прислушиваетесь? Ну, прислушивайтесь.

Этот разговор служил мне наставлением в дороге. И скажу откровенно, я не терял надежды иным появиться перед Ольгой Дмитриевной на Соловках, где теперь она руководит восстановлением в истинном облике грандиозных соловецких соборов — Успенского с его бесподобной трапезной и Спасо-Преображенского собора, в котором можно увидеть небывалое сочетание готической стройности со скупой, ясной и внушительной простотой новгородских соборов. Я хотел появиться с готовым ответом на то, что с давних лет волнует меня самого.

Я и сам не раз жадно слушал рассказы о тайнах камней, поросших ядовито-зеленым мхом лишайников, о сросшихся в течение веков громадах кирпичных кладок стен, которых теперь не расколоть никакими усилиями, о говорящих и поющих трещинах в серебристых бревнах, сложенных без единого гвоздя — «елочкой», как на Кижах, — в двадцать стен восьмерика с приделами, увенчанного двадцатью двумя куполами.

Обо всем этом Ольга Дмитриевна опять-таки говорила с любовью и восхищением перед мудростью людей, достигших архитектурных совершенств с помощью одного лишь топора, рукоделием, а главное, конечно, Савицкая говорила о том, какие мечты угадываются ею в этих каменных кладках, в куполах воздушной легкости. Ведь люди, сделавшие это, мечтали. Ведь само творчество — это неиссякаемая мечта.

А плотникам, срубившим собор Преображения на Кижах, было по шестьдесят и по восемьдесят лет. Известно, что главный строитель, Нестор, был стариком, не бравшимся после Кижей уже ни за одну постройку. Недаром среди тех плотников и каменщиков существовал обычай присваивать лучшим мастерам цеха, как царям, как императорам, соединительные имена Иван Седьмой, Климент Одиннадцатый, Порфирий Светлый…

Все, что пришлось услышать об островах и озерах Русского Севера, друзья мои, все верно. И иначе быть не может. Вспомните: в этих водах отражался шлем Александра Невского, отражалась

шитая шапка самого дивного зодчего XVI века, строителя соловецких соборов, многострадального Филиппа, в этих водах отражалась шляпа Петра.

Не раз спрашивал самого себя: какие это должны были быть люди, какой телесной п духовной силы, чтобы — еще задолго до кипучей и жестокой петровской поры — воздвигнуть сооружения бессмертной красоты то в Заонежье, то на сказочных гвидоновских островах Белого моря.

Возобновить красоту, всегда бывшею красотою самого народа, не менее радостно, чем восстановить имена героев. И нужно не только любоваться, но и читать — читать и перечитывать значение и смысл этих форм, линий, силуэтов, орнаментики. Постижение прямых и косвенных письмен народа в иерархии наук — наука одна из самых возвышенных.

Дерево смотрит в воды. У пас на юге камыш или глина служат для постройки жилища, а тут — лес, дерево. Великие воды п великие леса… Великие дебри Севера.

Вот это и слышится в музыке слов «Ладога»… «Валдай»…

Русские сказки говорят: для того, чтобы постичь затаенную красоту чистой истины, нужно самому быть умытым. Другая мысль такая: не сразу обнаруживается место, где в конце концов душа твоя тебе же открывается. Конечно, бывает и так, что диковинное место лежит и совсем близко, рядом, в твоем же доме, в семье — все равно надо его искать, ибо оно и есть то самое, на чем «древо процветает», как говаривали о секретах художественных ремесел старые русские умельцы Иваны и Климепты. И вот понятней становится, какая сила внушает уроженцу юга неодолимое влечение к ледниковым, языческим мшистым валунам, к водам великих русских озер, в которых вместе со звонницами и куполами отразились избы-срубы и «кошелем» и «брусом», восхитительные памятники давней жизни могучего народа. Все это требует думы и тишины — не только для художника, но и для туриста.

Тишина. Любите тишину!

Кому не знакомо ощущение приятной таинственности, с каким иной раз в городском саду вдруг шагнешь из аллеи, напитавшейся солнцем, в зеленую тень. Насколько же чувствительней переход к этому царству тишины и раздумья. Тишина всегда была признаком особой силы, интенсивности духовной жизни. Поэтому мы и защищаем право на тишину — и это особенно верно в тех местах, где внушение художественного образа, высокого примера учат нас лучше понимать самих себя. Разве это не так? Разве не по этой причине защищаем мы неосквернепность всего, что стало для нас источником доброго

познания. Нам нужно оставить открытым всенародный доступ к бессмертному, и мы не можем не радоваться тому, что, к общему счастью, удалось сохранить Пушкинский заповедник именно заповедником.

Тут уместно поделиться некоторыми наблюдениями. Очень распространен тип юного туриста, которого я назвал бы туристом-помреж. Его юркую фигуру можно видеть и на берегах Крыма, и в Карелии. Таков и Яша Кособуцкий. С Яшей Кособуцким я знаком не первый год, и мне простительно посплетничать о земляке. Встреча наша на пристани в Кижах была радостной, шумной и для меня небесполезной. Устроиться на ночлег здесь не просто. Но Яша уже заручился здесь на дебаркадере каюткой и пригласил меня разделить с ним ночлег. Так было всегда. Иные еще только растерянно топчутся, выспрашивают друг у друга, где гостиница, а Яша Кособуцкий с радостным самодовольным лицом уже несет в свой номер крынку молока, он уже знает, где и что следует смотреть, кроме общеизвестных мест, и где найти лодочника на Волкостров. Перед какой-нибудь достопримечательной часовней он будет метаться с фотоаппаратом в руках.

И какие только не бывают встречи на сей земле! Встретились нам тут и чужестранцы. Мы знали, что Кижи осматривает американский архитектор, и вот встретили его на тропинке с дамой и молодым человеком, почтительно шагавшим за патроном. Элегантный легкий старик все еще был под впечатлением недавнего зрелища русской архитектурной старины и возбужденно говорил своим спутникам примерно следующее:

— Мне знакомы древние храмы во всех частях света. То, что мы видели сейчас, больше всего похоже на храмы Индии, хотя у того и этого народа боги разные. Русским строителям (и это интересней всего) было известно нечто, что нам не понятно… О, это постижение!.. В искусстве постижение всегда выше умения. Но тух я теряюсь, не знаю, не знаю, чего тут больше и чем больше восхищаться…

Иностранец приостановился, еще раз оглянулся на погост, пошел дальше, голоса затихли. Мне лестно было слышать волнение чужеземца — и лестно и немножко обидно. Я думал с легким чувством неприязни: да и как же ты можешь понять? Ведь это все не может тебя трогать так, как нас. Разве это может быть одинаково близко и мне и чужестранцу? Нет, ему недоступно главное — чувство судьбы, родства и родины, выраженных в том, чем так радует мое сознание русский художник.

И думается, что я все-таки прав, хотя однажды меня

упрекнули за эти мысли. Что сказать? Конечно же, мы понимаем красоту готики, несвойственную русским национальным архитектурным формам, а англичанин, конечно, способен любоваться Кижами. Но, право, верно и то, что только сын своей родины может сказать о ней: Родина-мать… Родина… Отчизна. Что скажет мне пустыня? И только араб думает о ней так же, как я о прелести русского леса…

Люди ушли по тропинке в сторону пристани. Скоро к пристани подойдет надводнокрылая «Ракета», совершающая рейсы между Петрозаводском и Кижами. А еще через какое-то время люди из-за океана, побывавшие на Кижах, увидят на горизонте как бы ледяные брусы нью-йоркских небоскребов… Бесчисленны сочетания старины и новизны, света и теней.

Наступала ночь. Воды стали светлее берегов. Иногда то тут то там на воде играла рыба, утки по-осеннему собирались на плесе. Пока еще только одна звезда горела над плесом и полоской дальнего лесистого берега. Силуэт кижского погоста все более темнел, но вот на какой-то невидимой детали верхнего купола почему-то засверкал вечерний луч, и опять мне вспомнился рассказ Савицкой о том, как однажды она так же долго всматривалась в потухающие под закатным небом купола соловецкого Спасо-Преображенского собора, бессмертного творения Филиппа, и вдруг кто-то, как ей показалось, на куполе зажег огонек.

— Это, вероятно, был сам Филипп, — пошутил я.

— Вероятно, — строго отвечала Ольга Дмитриевна. — Все шутите… Нет, вы ничего не поняли…

Но мне кажется теперь, что я кое-что понял, и я рад буду поделиться с Ольгой Дмитриевной своими догадками. Мне кажется, что я испытал чувства, близкие к тем, какие знали безымянные строители и на Кижах, п на Соловках. Мне кажется, я догадываюсь, о чем думали обширные умы, чем терзались сильные духом, непреклонные в характере и убеждении богатыри, современники протопопа Аввакума, зодчего Филиппа, сподвижники кижского Пугачева Климента Соболя, восставшего на государево притеснение и вскоре, как Пугач, замученного императрицей. Я понял то, что оставалось непонятным американскому архитектору.

Целомудренность художественного замысла та же, что и целомудренность жизни, познания и трудов. Их благородство и величие именно в том и состоит, что и современник Грозного строитель Филипп, и сотни других безымянных зодчих, его предшественников и потомков — все они и всегда пророчески

предвидели и закрепляли в художественном образе постижение главного: человек должен разговаривать с богом на равных. И всякий храм, и всякое мирское строение человек ставил в пустыне, над холодными водами под северной звездой именно затем, чтобы очеловечить природу. В этом и было высшее «божье» дело. Этого хотели все люди миром. Они хотели видеть сами и передать потомкам памятники победы своего духа над холодной безъязыкой природой. Их вера — это и была прежде всего вера в свое назначение.

…Чуден мир, художник постигает его и сообщает другим, и нам не безразлично также, с чем возвращаются наши дети и внуки, наши юношп с рюкзаками за плечами, в башмаках на толстых подошвах, с чем они возвращаются из дальних летних походов. Я знаю, на невеселой пристани деревянного городка с выступающими посреди улицы огромными, как мамонтовы спины, глыбами первичной геологической породы и на бревенчатой пристани в Кеми всегда толпятся люди в ожидании случайного судна на Соловки.

Уже многого нет из того, чем стал грозен, велик и поучителен перед человечеством Русский Север, но высшие состояния духа казаков Севера, как по справедливости хочется назвать заонежских и поморских былинотворцев, зодчих и плотников, рыбаков и пахарей, их высшая человечность угадывается по их творениям, и радостно знать, что, создавая это, они думали о нас, о своих потомках…,

Сын мой! Помни это, будь горд тем, что в нашем городе есть такие же люди, какими были древние строители, умей видеть их!

Так представлялось мне и было радостно от этих дум.

В тот вечер, не имея другого собеседника, я на радостях поспешил поделиться своими мыслями с присмиревшим Яшей Кособуцким, и он согласился со мной.

Это был вечер на берегах великих озер, на Кижах.

Женщина с зеленой веткой

Жизнь интересна еще и тем, что можно путешествовать.

В. М. Пржевальский

— Через полчаса будем в океане, — строго сказал капитан.

И вот через полчаса Курильским проливом мы вышли из Охотского моря в Тихий, или Великий, океан и снова перевели часы на час вперед. Теперь разница во времени с Москвою девять часов. Не странно ли? В Москве только сейчас заканчивается уже пережитый нами, вчерашний день, зажигаются вечерние огни — перед нами сейчас взойдет солнце.

В который раз за время этого плавания приятно-тревожное ожидание новых впечатлений охватывает меня. Который день шумят машины, и за бортом беззвучно отваливается рассекаемая кораблем волна.

Выйдя из Владивостока в двадцатидневное плавание с туристами на борту, нарядно-белый быстрый «Урицкий» успел побывать после Сахалина в бухте Нагаево, в Магадане и теперь, обогнув южную конечность Камчатки, мыс Лопатка, взял курс на Петропавловск.

При повороте — я вышел на крыло мостика — снова, через много лет меня обдул холодноватый ветер Великого океана. О, первый океанский ветер! Необозримое поле волн, только что миролюбиво набегавших на скулу корабля, теперь чувствительно качнуло нас с борта на борт. Чувствительней стала вибрация.

Вот-вот взойдет солнце.

Только бы рассеялся туман при подходе к Авачинской губе! Еще бы, как об этом не беспокоиться! Что сказали бы вы, если бы с трудом добывши билет на желанное представление в театре, вдруг оказались бы перед опущенным занавесом: «Извините, пожалуйста, некоторые сцены спектакля сегодня будут пропущены, посидите так»…

Уже на борту теплохода в кипении первых знакомств понял я, сколько людей по всей стране — от Минска до Еревана, от Еревана до Архангельска и Хабаровска — остались без желанных путевок. Круиз по нашим дальневосточным морям из семьи Великого океана успел стать одним из самых заманчивых для самых заядлых туристов. (Круиз — модное словечко, образовавшееся просто-напросто от искаженного английского cruise — крейсировать.) На его маршруте бархатные бухты и

оленьи совхозы Приморья; еще недавно устрашавший и угрюмый Сахалин; призрачно далекий Магадан — рука, протянутая к золотому блюду Колымы и Чукотки; старейший русский порт на Тихом океане Петропавловск на огненной Камчатке; якорные стоянки в виду рыбацких городишек и пешие прогулки к кратерам вулканов, в бамбуковые заросли Курильских островов.

В Приморье щедрое лето дышало на самые щеки, здесь говорят: макушка лета. Кое-кто уверяет, что ему даже посчастливилось видеть в тайге под краснокорыми стволами кедров, под листьями роскошных папоротников, стебли женьшеня. Не знаю, как насчет женьшеня, но в оленеводческом совхозе-заповеднике в бухте Сидими многие видели незабываемую сцену снятия пантов молодых оленей. Зрелище, редкое по своей трагической красоте. Стада пятнистых оленей ходят вольно по заповеднику. Но наступает срок, и партию животных загоняют в панторезки.

Вот олень, зажатый в деревянном станке, взвыл, закричал, еще одно быстрое движение пилы — и плюшевые рожки в руках мастера — добавок ко многим тоннам пантов, снятых прежде. Грациозное животное освобождено. Олень — уже без рогов, — торопливо стуча копытцами, выкарабкивается из станка, в глазах его боль и удивление, и вдруг с неожиданной мощью, с грацией совершенной он прыгает, перелетает к открытым воротам — и нет его…

В спокойном волнении широкого моря утихают чувства бурных впечатлений, приходит размышление. Все приходит в назначенное время.

И все-таки кое-кто жадничает, просит капитана так рассчитать курс дальше, чтобы нас хотя бы слегка обмахнуло крыло тайфуна, шутят: «Ведь вот зажал Каролину, зажмет еще, не выдаст ни тайфунчика, ни шторма». Каролина — это имя тайфуна. По японскому обычаю, всякий тайфун получает свое имя.

Напрасно ропщут. Все, что обещано, выполняется строго. И капитан, и директор круиза, молодой хлопотливый Алекумов, с глазами, покрасневшими от бессонницы, недавний моряк, которого все мы успели полюбить, — оба они очень хотят, чтобы все остались довольны. И только пронзительно холодные, летучие туманы Охотского моря или тепловатые, липкие, пожирающие лак и сахар, изгоняющие пчелу туманы от берегов Японии — безжалостные туманы этих широт — то и дело норовят скрасть закаты и восходы, суровые и лучезарные дали, просторные и уютные бухты, города, вулканы…

Черноглазый, волосы бобриком, радушный капитан Михаил

Зингерман лишен тяжеловесной импозантности старых седых капитанов, к которым, кстати сказать, он и меня учил относиться с великим почтением. Может быть, и на самом деле говорить об этом не остроумно, но все-таки его не увидишь с трубкой во рту, не услышишь хрипловатый капитанский окрик. В его манере разговаривать с пассажирами иногда проскальзывает даже нотка застенчивости, но он неизменно располагает к себе простотой и прямодушием, доброй озабоченностью. А сколько у него других забот, кроме как о самочувствии пассажиров! На корабле все сводится к капитану — с трубкой он или без трубки, — и как-то я высказался на этот счет.

— Моряк идет по морю, как по местности, — ответил мне капитан. — Под ногами течения, мели и глубины, но сторонам ветры, камни, берега. Иногда я чувствую ход корабля, как свою походку. Поворот — и он ощущается всем телом. Вот вы, — говорил мне капитан. — смущены. Без трубки — как будто и не капитан… Ну, ну, я шучу, не подозреваю вас в такой банальности. А всегда ли справедливо стыдиться того, что кажется банальностью?

Этот интересный разговор мне хочется передать, потому что он имеет прямое отношение к делу. Капитан говорил мне:

— Вот вы, пишущие люди, время от времени отправляетесь на «поиски героя». Это разве не банально? Но и за этой банальностью все-таки стоит потребность жизни. Вы говорите: выражение «поиски героя» не совсем точно, ищут обновленное чувство жизни. Верно! И нам хочется, чтобы так чувствовали пассажиры. Все читают книги, а сами говорите, что не всегда умеют читать. Вы хотите видеть книгу до самой глубины, так надо и путешествовать и с удовольствием, и с пользой, с мыслью. Вон сколько молодежи! Пусть научатся не только что-то чиркать в путеводителях, вот бы еще размышлять им, вот это бы хорошо!

Вот каков наш капитан! Так что ему, думаю, позволительно и отшучиваться на банальную просьбу иной дамы пройтись об руку с тайфунчиком Каролина.

В море часто думал я о тех людях, что первыми выходили в океан под парусом на крепких поморских баркасах. Кое-где на пустынных берегах, обнажающихся в час отлива, среди скал, удивительно похожих здесь на мокрых морских животных, еще можно видеть груды камней — незамысловатый памятник безымянному матросу. Не только о капитанах — подумаем и о матросах, о многих русских людях, по силе духа равных несокрушимому Аввакуму, Дмитрию Донскому, казаку Дежневу или Лаптеву, чьими именами названы здесь моря и земли. Ведь

первыми стойкими жилищами ка одиноких редких постах, в скалах, погруженных в пену прибоя, оживленных скопищами птиц, были здесь русские жилища, первыми грамотами были грамоты на русском языке — от царя Петра, от Елизаветы. И первые карты были на русском языке, и первые флаги были русские флаги.

Каждому морю присущ свой образ. Облака над морями Беринга или Лаптева иные, не такие, как облака над нашим домашним курортным Черным морем, не те запахи, даже гул наката не тот. Вот только неустанный и неуклонный бег волны — и первые сутки, и вторые, и в день седьмой, и в день десятый — пенистые гребни драконов, срываемые ветром, всегда — ив Японском море и на Черном — напоминают мне одно и то же: неустанный бесконечный ход и труд человеческих поколений.

«Путешествие наполнит тебя знаниями и укажет цель, — говорит старинное арабское изречение. — Путешествие поможет тебе понять самого себя: кто ты есть, на что способен».

Океан! Все тут широко, просторно, мощно, и, присматриваясь и прислушиваясь, ясно понял я: именно это щедрое сочетание могучей природы с могучим неуклонным воздействием на человека как раз и манит его сюда с такой силой. Не может человек оставаться тут заурядным, безучастным. Каждый претерпевает здесь не только встречу с большим океаном, но и в самом деле заново встречается с самим собой, многие начинают важный диалог с самим собой в масштабах жизни и природы.

Здесь человек приобретает все основания сделаться человеком незаурядным, о ком в наши дни принято говорить: крупный деятель. Потому что тут нельзя не думать, не чувствовать, не делать больше, чем где бы то ни было. И — что, вероятно, особенно важно — почти незамедлительно видишь тут результат своих усилий.

Убежденность в этом приходилось слышать много раз при встречах с дальневосточниками-сахалинцами, магаданцами, на Камчатке и па Курильских островах.

Очень интересной была у нас встреча с «отцами» рыбацкого городка Холмска на Сахалине. Я бы сказал, что нам посчастливилось видеть в городке, пропахшем рыбой, не только его «отцов», но и «матерей» — учительниц, врачей, плановиков, приехавших сюда в свое время по распределению из московских и ленинградских институтов и университетов. Все слушали рассказы о жизни в Холмске или в Южно-Сахалинске с не меньшим интересом, чем рассказы наших же товарищей по

круизу об их путешествиях в Индию, Йемен, на Мадагаскар или Кубу. По-своему это было даже интересней, потому что дети или младшие братья и сестры многих бывалых людей тоже кончили институты и университеты, а в иных семьях, вероятно, случались уже и те слезы, и те опасения, о чем вспоминали — теперь со свойственной улыбкой — нынешние директоры, партийные работники Холмска, Магадана. Теперь на улицах Южно-Сахалинска я чувствовал себя как в Москве: те же зеркальные витрины магазинов, те же колпачки и те же жесты продавщиц, те же миниюбочки, книжные и радиомагазины, бульвары, сады. В ту пору, когда все только начиналось, страхи и обиды были одинаковые и на Сахалине, и на Камчатке, и на Чукотке. Не забываю я, например, признания Софьи Ивановны Набоко, отважного вулканолога с мировым именем. Не сразу пришла в себя и она, когда — совсем девчонкой — впервые осталась на склонах Ключевской сопки с глазу на глаз с дымящимися демонами-вулканами. Но постепенно Ленинград был забыт, девушка превратилась, как шутит сама Софья Ивановна, в одну из дочерей мифологического Вулкана, а теперь новое превращение: она тоже мать — она Мать вулканов. Так теперь ее именуют в этом фантастическом краю всевозможных превращений и реальных деяний.

О делах и успехах своих городов, колхозов, вулканологических и геологических партий всегда рассказывалось с такой горячностью, с такой страстью, что нельзя было не восхититься, а то и позавидовать этой полноте чувств.

Не очень молодая, но очень энергичная дама, возглавляющая местное планирование, с той же страстностью рассказала и о том, как испугали ее сначала дощатые фанзы с железными жаровнями, оставшиеся от японцев, грязь, безлюдие, ни одного автобуса, ни парикмахерской, ни сада. Сажа и рыбья чешуя.

Ее привлекло сюда прекрасное описание в каком-то литературном журнале изобилующих рыбой дальневосточных морей, и это же чувство романтических надежд помогло ей преодолеть слабость, увлечься делом — и сколько интересного она стала находить на каждом шагу! Сколько дружных усилий людей, казалось бы, чужих друг другу! Вот например, кооперирование сахалинцев с приморскими научно-исследовательскими институтами, которые помогают — и с большим успехом — выращивать здесь картошку, прививать плодовые деревья, не считаясь со временем, с условиями договора — бескорыстно.

— И вы ведь понимаете, — горячо говорила она, — как человеку нужно дерево, как он любит его. Разве может человек

жить без дерева?

При этом женщина держала в руках зеленую ветку, не цветок, а ветку. Когда она говорила особенно пылко, ветку осторожно клала на столик. После ее рассказа я осмелился спросить: почему ветка?

— Ветку кто-то обломал. Попробую, нельзя ли ее привить у меня в палисаднике. Приходите, кстати, посмотрите, какие у нас домашние сады.

— Ну, уж и сады, — добродушно усмехнулась другая. — Покажи ветку. Да, пожалуй, привьется, у меня уже был такой случай. А вы, — обратилась она ко мне, продолжая усмехаться, — не беспокойтесь: у нас любую веточку, как ребенка, скорее положат с собою в постель, чем отбросят.

Я вспомнил милого магаданского человека, прослывшего чудаком, Горозеева, разводящего в Магадане розы, мечтающего о ботаническом саде. Эти люди обладают дивным даром — видеть будущую красоту, этому посвящают свою жизнь. Вот какие еще бывают чудаки, вот с какими людьми, да каких характеров, можно встретиться!

Сейчас на десять тысяч населения в районном Холмскесемь больниц, двадцать четыре врача, много школ, достаточно столовых. А ведь приезжали сюда не с веточкой, а со своей ложкой, не все верили тогда, что почти в каждой холмской рыбацкой семье дети будут учиться музыке.

Очень сожалел я, что на сей раз мне не удалось встретиться с сахалинской рыбачкой Сашей Хан. Женщина эта — давняя рыбацкая слава и постоянная рыбацкая совесть — сразу же с редким умом отнеслась к появлению на Сахалине толпы туристов. Старая рыбачка хорошо понимает: неспроста люди идут к рыбакам. Идут за ухой и тишиной, но идут и за истиной. Немолодая веселая женщина с темным от загара лицом, с живыми глазами, ведь она, Александра Степановна Хан, тоже Женщина с зеленой веткой.

Биография рыбака в наши дни — это не глухая, уединенная дремучая жизнь в трудах, бореньях и тишине… Помните: «Жил старик со старухой у самого синего моря… Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу». Нет, теперь не так! И бессмертная сказка о золотой рыбке, и трогательный образ беседующего с ней рыбака, и труженики моря Гюго и Куприна, и, наконец, библейски величавый в своем одиночестве, в трудном упорстве старик рыбак Хемингуэя — образы эти не соответствуют тому, что каждый видит теперь и на Сахалине, и на Камчатке, и на Курилах. Теперь золотая рыбка иная, не та, что так честно и

щедро хотела заплатить человеку за его великодушие. Дальрыба, Азчеррыба, Запрыба, Облрыбакколхозсоюз — вон какие слова знает сегодня рыбка! Но истинный рыбак по-прежнему любит именно тот час, когда он может беседовать со своей золотой рыбкой с глазу на глаз. И в правлении Облрыбакколхозсоюза невозможно ему жить без моря и без рыбы. Я знавал и таких рыбаков, которым казалось, что и рыба без них скучает, не может быть без него порядка на океанских изобатах, глубинах, по которым идут рыбьи косяки. «Упустишь день — ускользнет вся путина». А океан — кормилец. «Это только па первый взгляд, — считает Саша Хан, Александра Степановна, — океан чужой, не человеческий».

Закон общего дела Саша Хан поняла сразу, еще тогда, когда она только приехала на Сахалин страховым агентом.

Дело в том, что в туманах Охотского моря я уже бывал, бывал на этих серых берегах.

Очень давно, в тридцатых годах, осваивая акватории наших восточных морей из большой океанской семьи, ходили в эти воды первые корабли нарождающегося Тихоокеанского флота. С первыми моряками-тихоокеанцами ходил и я, в то время бравый корреспондент военной газеты. Было очень интересно: новые курсы, новые карты, новые, часто рискованные испытания. Нынешних портов не было, хорошо если был готовый причал, два-три домика на берегу. Деревянный Охотск, деревянный Холмск. Вот уж где были дремучие рыбаки, из поколения в поколение передающие первобытные латаные сети!

Сушь. Голь. Камень. Галька и галька, лишь кое-где цветет картошка. Дует ветер, набегают и убегают приливы и отливы… Но какая была краса, когда тучи рыбы шли на нерест в устье рек. В брачном безумии самцы и самки ничего не чуют, не хотят слышать. Стадо входит в устье — вода в реке подымается. Сверкает. Плещет. Самцы, прикрывая самок, идут поверху, их ждут медведи и запросто вылавливают, отъедают голову, тушку — долой; и мертвая рыба лежит на берегу грудами — мертвая, полумертвая, еле живая — кета или лосось. Если поблизости жилье, ее день за днем лопатами сваливают, сгребают эти «дары» обратно в море. Там же, где успел появиться рыбный завод, громоздятся бочки кетовой икры, горы рыбных паштетов и колбас. В ту пору и иваси, обойдя японские берега, шли к нашим. И трепанг и «всякая моллюска», казалось, предпочитает иметь дело с нами. Пробуя отвести «руку Москвы», японские кавасаки то и дело шныряли и тут и там, обворовывали наших рыбаков, торопясь выбрать чужие сети.

Интересное было время! Русские рыбаки, потомки первых морепроходцев-казаков Дежнева и Лаптева, годами не видели соотечественника с материка, годами не видели нового человека гиляки и нивхи.

И вот однажды в море из сообщения ТАСС мы узнали о полете Чкалова и о том, что его самолет садился на острове Удд. Это был знаменитый первый прямой перелет с запада к берегам Тихого океана. Остров Удд, на который садился Чкалов, был у нас на курсе; Чкалов летел к острову с севера, мы приближались к нему с юга. Как нарочно, особенно донимали туманы — то долгие, то вдруг наплывет и тут же нет его: рубка еще в тумане, а нос уже освещен солнцем. При каждом удобном случае ловили солнышко на сектант, нынешних локаторов и радиокомпасов еще не было, еще, как в древности, моряк полагался на свой глаз, на ухо. Но шли мы весело, были уверены в нашем комбриге, и он не обманул нас.

Перед нами была отмель, омытая со стороны материка. Песок. Гравий. Несколько кривых березок, называемых каменными, — потому и каменные, что никакая самая каменистая почва не в состоянии остановить рост этих болезненно извивающихся березок, похожих на кусты. Серый дощатый поселок, вдоль по берегу чернеют просмоленные шаланды.

— Это и есть Удд?

— Удд, — жизнерадостно отвечает комбриг. — А вы думали Венеция?

Я очень любил и запомнил жизнерадостность комбрига, его веселую уверенность во всем, что задумано нашей страной, его любовь к морскому делу и преданность морякам.

— Приедете сюда через десять лет — не узнаете: все будет сделано, — обычно говорил он. — И для этого не так уж много нужно, а только не ломать ветки.

Его иносказательность была понятна.

Красок мало — голь, но любопытно до чрезвычайности. Наше появление внесло немножко торжественности. Лодки стали на рейде поодаль от мелких берегов, просигналили, но догадливые рыбаки и без того уже гребли к нам. На шаландах женщины и дети. Еще бы! Десятилетия тут никто не появлялся, и вдруг сначала прилетает громадный самолет, теперь — подводные лодки, — это ли не событие!.. И вот тут-то начинается событие и для меня, событие душевное.

Право, со мной ли все это было? Но мое тело вдруг вспоминает те ощущения: сыро, холодно. Розовая мгла. Мокрый песок со следами человеческих шагов: вот тут ходил Чкалов, а вот тут — взрытые в песке колеи: тут сел самолет. Голоса вперебой.

Интересно и нам, и рыбакам. А кто посолидней, тот молча ухмыляется в бороду. Детишки, женщины. И вот тут же, по какому-то наитию, сразу, моряки начинают складывать из камней пирамидку.

И вдруг — одна из женщин быстро идет к импровизированному памятнику, голова ее закинута, глаза блестят — это я хорошо помню — в руках у нее зеленая ветка. Рыбачка ловко, легко взобралась на горку камней и на самой вершине закрепила ветку. При этом она сказала несколько слов, и я хорошо помню их смысл: «Жили, никого не было, — громко сказала женщина. — А вот ныне идут к нам русские люди — и по воздуху и по воде. Рыбаки обещают: и мы не посрамим их».

Позже мы узнали, что ветка была с взращенного женщиной деревца. Комбриг поцеловал ее.

Не напрасно мудрость, плодородие и правосудие являлось древним в женском обличье. Женщина и женственность родят и берегут все живое. Это в крови, в душе у женщины. Мудрость, справедливость и жизнелюбие должны помочь и рыбакам на океане.

И самым интересным, конечно, всегда было сопоставление особенности жизни здесь и «на Западе», как обозначают здесь области страны, лежащие на запад от Дальнего Востока.

У нас на Дальнем Востоке, говорили мне, надуманных ложных проблем нет. Есть проблемы социального значения: сточные воды, снежный покров — как управлять тем и другим? Какие типы городов и домов, из каких материалов более пригодны к местным условиям? И с этой важной проблемой соединяется, пожалуй, первейшая из проблем: как сократить все еще большую миграцию населения? Что лучше остановит миграцию — повышенные заработки или рост уровня благоустройства? Откуда лучше привлекать новых людей — из среды городского населения или сельского? Действительность показывает, говорили мне, что привлеченные из больших городов — Казани, Новосибирска, не говоря уже о Москве или Ленинграде, — хуже приживаются здесь, чем приезжие из районных и сельских местностей. Какой планировать город — большой, многолюдный или небольшой, но с расчетом на безусловное трудоустройство всего населения.

А вот, казалось бы, вполне частный вопрос: какой вид транспорта предпочтительней для поездки на Север — аэро или — по старинке — железная дорога? Оказывается, железная дорога лучше: важна постепенность, психологическая подготовленность к крутым переменам.

В Магадане, городе, зародившемся на берегах бухты волшебной красоты и недавно отпраздновавшем четверть века своего существования, посетили мы, соответственно программе наших поездок и экскурсий, одну из орбитальных станций радио- и телесвязи Дальнего Востока с Москвой. Тогда еще не знали, что авторы приемных телевизионных систем «Орбита» будут награждены Государственной премией 1968 года. Но легко понять, что и тогда мы ехали к «Орбите», как к одной из самых редких примечательностей Дальнего Востока. Ехали сопками, поросшими низкой коряцкой тайгой, изобилующей каменной березой. Кое-где уже краснели гроздья рябины. Нас обольщали еще и тем, что якобы может появиться медведь. Медведя мы не увидели, но вдруг увидели над тайгой огромные металлические веерообразные уши. Техническое чудо было перед нами. Его ушираковины (каждая из конструкций антенны весит 60 тонн) чутко следили за ходом невидимого где-то в небесах спутника, от которого принимали световые и звуковые волны.

Небольшое белое и опрятное конструктивно-расчетливое здание станции в тайге — не означало ли оно волшебство непостижимое, как в сказке? Медведей не было, а было перед нами современное создание человека. Вошли — таинственно, замысловато, тихо и все так же опрятно и точно. Этой аппаратуре подчинены тайны света и цвета, звука и расстояния. Благодаря сложному устройству, в котором участвуют все точные науки, далекий Магадан, город, который мне давно только снился, теперь ежечасно слушает и видит Москву. А нужно сказать, что, как с огорчением признался нам старший специалист «Орбиты», эта — магаданская — конструкция не из самых совершенных, есть лучше. Станции, подобные этой, есть и во Владивостоке, и в Хабаровске, и в Южно-Сахалинске, и в Петропавловске.

Подумать только, как вздыхал Гончаров о том, что прекрасные эти места не радуют видом городов, не оживлены промышленностью и торговлей. В «Фрегате «Паллада» он писал: «Все задернуто тайной, недоступной постороннему мореплавателю», «Дом заперт наглухо и ключ потерян». Так ли это?

Знакомил нас со станцией молодой инженер. Разумеется, не все было мне понятно.

Среди нас, туристов, немало было опытнейших инженеров, математиков, физиков. Самые разнообразные и сложные вопросы интересовали людей, и не было ни одного вопроса, на который хозяин «Орбиты», молодой инженер, не ответил бы с такою же игривой легкостью и удовольствием, с каким молодая хозяйка дома показывает милым гостям оборудование кухни в новой

квартире.

Старший специалист — хозяин — коснулся и истории станции, а постепенно и своей истории, как сделала это женщина в Холмске, и это было также интересно. Молодой инженер Литвинов сравнительно недавно окончил институт связи в Ташкенте. Заметьте, в Ташкенте! Он сразу принял предложение ехать на Чукотку, за Полярный круг, где в году так мало солнечных дней, там, на белых безлюдных просторах тундры с ним произошло то же самое, что случилось бы с врачом, оказавшимся единственным целителем на сотни верст вокруг, произошло то, о чем я говорил: если человек там остается, он обязательно должен победить. Этого хочет человек. И в нем все шло навстречу опыту, и опыт лился широкой струей. И вот результат: молодой человек — ведущий инженер одного из интереснейших технических устройств наших дней. Человек — только посмотри на него — наполнен радостью знания, счастлив пониманием своей задачи, он тоже путешествует и его путешествие интересно.

Путешествуют все — геологи, гидрологи, золотоискатели и скотоводы. Одним нужно стадо оленей в 645 000 голов довести до миллиона. Это тоже проблема Магаданской области. Другим — вывести розы. Все это — путешествия, волнения души, романтика. Учитесь путешествовать!..

«Урицкий» уже приближался к Авачинской губе.

Уплывал туман. Но справа по борту, вдали над горизонтом, он скопился и держался низкими тучами облаков. Солнце еще не прорезалось в них, еще не прорвало, но чувствовалось: вот-вот прорвет. Его сияние уже ликовало то тут, то там, выливаясь и выбрызгивая из фантастического хаоса облаков. Все шире, все ровнее заливалось небо светом. И вдруг, не заметил я, как это случилось, по левому борту во всей наглядности отчетливо открылись берега: Камчатка! Камчатка! Сопки, сопки, сопки — те выше, а эти ниже, остроконечные, гребневидные, далекие, близкие, зримые, заснеженные!

И так же внезапно раздался голос Алекумова:

— Доброе утро, дорогие друзья! Пора вставать. Поздравляем вас: теплоход «Урицкий» вошел в Тихий океан, и мы приближаемся к Петропавловску. Температура воздуха…

И вдруг свое обычное утреннее приветствие Валентин Миронович прерывает возгласом:

— Справа по борту видны киты… Видны киты…

Слева по борту Камчатка, справа — киты!

Вдоль бортов, по всему лайнеру, и на баке, и на шкафуте, и

по ботдеку уже щелкают фотоаппараты и стрекочут любительские кинокамеры.

Истинный турист, заметил я, скорее откажется в дождь от куртки или дождевика, но не расстанется с фотоаппаратом пи в каком походе, ни в какую погоду. Муза дальних странствий не останавливается ни перед чем.

Доброе утро, дорогие друзья!

Еще в полете на Владивосток, над великими реками Сибири, я разговорился с соседом. Оказалось, немолодой, кроткий человек, седоволосый профессор географии из Еревана, тоже спешит на «Урицкий» к его отходу. Но, представьте себе, оп еще не имел путевки. Второй год ему вежливо отвечают: «Все путевки уже распроданы, просим не забывать нас и приехать на будущий год». А профессор решил не ждать, а поехал наудалую и в свое оправдание говорит:

— Прилетим, там будет видно. Неужели откажут?

Ему во что бы то ни стало нужно видеть вулканы и гейзеры Камчатки. И особенно любопытно было мне услышать, что в Петропавловске он надеется встретиться именно с Софьей Ивановной Набоко, известным вулканологом, — знакомо ли мне это имя? А зачем? Географ — он увлечен сейчас не только экономическими перспективами окраинных районов Советского Союза, но в подтверждение своих взглядов на преобладание добра над злом он развивает мысль о том, что и вулканическая деятельность в конечном счете не зло, а добро: так созданы почвы, огромные массивы для жизни; вулканический пепел создает самые плодородные районы. Не напрасно долина реки Камчатки прозывается Новой Украиной. Даже тигры в Уссурийском крае способствовали созданию вокруг себя сильных видов животных…

С таким попутчиком было не скучно. Можно представить себе, как радостно было встретить воздушного спутника уже на борту теплохода: если и не удастся ему побывать в Долине гейзеров, что, кажется, отпадает по нашей программе, то уж во всяком случае электростанцию, работающую на фреоне, на горячих источниках, на речке со смешным названием Паратунка близ Петропавловска профессор экономической географии увидит непременно, убедится на месте, что в умении овладеть могучей энергией неистощимых горячих вод — вся будущность Камчатки…

Капитан не отводил пристального взгляда от курса, на который вышло судно. Теперь он казался человеком

неприступным, и я не приставал к нему с вопросами — тем более что передо мной было отличное развлечение — экран радиолокатора. Я любовался одним из чудес мореходства, всматриваясь в волшебное изображение искрящегося океана и его берегов, и вспоминал сказку о наливном яблочке и серебряном блюдечке: «Катись, катись, яблочко, по серебряному блюдечку, показывай мне города и моря, и гор высоту, и небес красоту».

Но вот капитан убедился, что все благополучно: «Урицкий» на курсе, незаметно никаких помех. И лицо капитана опять стало добрым.

Уже не на экране — в ясном воздухе за прибрежными сопками сверкала на солнце снегами гряда Авачинских вулканов.

Капитан радовался тому, что туристы увидят Камчатку, Петропавловск, Авачинскую губу во всей их красе. Он готовился все это показать заодно с Алекумовым как свое достояние.

— Вот вам общеизвестная, банальная Авачинская губа. Авач, — оживленно говорил он. — И все-таки вам очень повезло, радуйтесь. Ясно и ясно. Бывали случаи, когда за двадцать дней рейса солнце и не выглянет.

— Если бы еще так же было на Курилах, — не удержался я.

— Ну, что там загадывать, любуйтесь пока Авачом, запоминайте… Повезут на Паратунку — непременно купайтесь: молодит. А старички тоже поедут?

— Думаю, не отстанут.

Зингерман имел в виду милых пассажиров, двух старичков. Они имели билеты третьего класса, но из уважения к их возрасту им предложили стол в ресторане первого класса. Старушка так слаба глазами, что не сразу видит предложенное ей блюдо. Ей во всем помогает высокий сутуловатый старик с бритым лицом, в очках. Его седая стриженая борода также низко склоняется над тарелкой. Нужно, однако, видеть, как преображается он, когда пересаживает свою спутницу со шлюпки на плашкоут или сводит по трапу к прыгающей на волне шлюпке. «Девочка моя, не робей» — то и дело слышен его добрый неунывающий Голос. И мне стало очень любопытно: что видит эта старушка в наших походах? Я познакомился со стариками.

— Неужели вашей супруге не трудно? — не совсем скромно спросил я.

— Вы ошибаетесь, — добродушно ответил старик. — Мы не супруги, мы плавающие и путешествующие — я и моя сестричка! Девочка моя, познакомься! А что она видит и слышит? Она чувствует воздух, запахи, слышит птиц. Разве это мало?

Оба наши попутчика — москвичи, он — в прошлом геолог, немало поработавший в Приамурье и на Приморье, его сестра —

педагог.

Согласитесь: не только «Орбита» и вулканы, рыбаки и оленьи совхозы были интересны в нашем круизе. Много интересного было и на борту, и капитан нашего великолепного «Урицкого» был тысячу раз прав.

И, конечно же, я надолго запомнил Авач, вход в губу, простор приоткрывающихся бухт, утренние синие воды, зеленые холмистые берега. Запомнил могучих «Братьев» — скалы у входа в губу, вокруг которых бешено пенился прибой, а в глубине бухты — домики старого Петропавловска и бетонные блоки новых кварталов, дым порта, мачты рыбацких сейнеров. Никогда не забуду снеговые вершины Авачинских вулканов, подступающих к океану, заглядывающих в него со снежной высоты своих дымящихся вершин.

И думалось мне: где-то там, между гор, наверно, тоже есть Женщина с зеленой веткой. Есть! Это не поддается никакой статистике, но как это нужно, как хорошо, что это есть!

Человек с камчатки

Я вошел в вагон в Иркутске и вскоре уже знал, что мой сосед но купе, симпатичный жизнерадостный старик с мясистым носом и седым чубом, — человек с Камчатки. Так отозвались о нем другие спутники. И это показалось странным: в его речи слышался украинский акцент. И не совсем обычно было выражение его лица — сосредоточенное и вместе с тем живое, полное озорного любопытства к окружающему.

Человек с Камчатки! Лучшего собеседника нельзя было желать в долгой дороге через Сибирь и Урал. И я не обманулся.

…Разум и сердце влекут к подражанию лучшему. А что же в прежней старой деревне было лучше школы и доброго учителя? Разве доктор? Но больница пугала воображение ребенка, ездили туда надолго и возвращались со стонами — нерадостные, испуганные. А в школу, если в околотке была школа, бегать было не так уж и далеко — шесть-семь верст, и ребята оттуда возвращались веселыми. Книжка, тетрадь, уроки на классной доске, четко написанные мелом, увлекательные рассказы учителя… Ну, а школа без учителя — какая же это школа? Без учителя просто и нет школы. Значит, интересней всего быть учителем!

Так рассуждал маленький Петя Калиниченко. Трудным становилось время, когда старший брат уходил в школу, а Петя скучал дома. Около брата Петя выучился буквам и считать на круглые десятки. Ничего не было приятней, как выводить буквы чернилами на гладком листе бумаги. Но приходилось делать это тайком от отца, человека сердитого, несправедливого. Мать старалась оправдать его, дескать, отца в детстве били, вот и он лупит с тихой настойчивостью, но материнское заступничество любви к отцу не добавляло, а все-таки мать достигла того, что и Петя был отпущен и однажды осенью побежал через лес, полянки и поле в Шендеровскую приходскую школу.

Петя учился прилежно и по окончании трехклассной школы был принят на вторую ступень. О, здесь учились столь сложным вещам, что равнодушные ребята науки не могли осилить! Но в душе Пети тут-то как раз и зажглась мечта.

Мальчик начал узнавать чувство времени и пространства, чувство большого мира, сильной прекрасной жизни. Дома отец сек за разбитый горшок, за то, что Петя не вовремя полез на сеновал, сходил по грибы, а в школе, наоборот, звали к пытливости, к открытию новых земель. Тут всегда боялись, что

хлеба не хватит, там — горы, океаны и города, полные богатств. О, как интересно было бы увидеть все это своими глазами, а затем вернуться в Шендеровку и обо всем рассказать товарищам, подтвердить правду книжных рассказов!

Вот как думал подрастающий Петя Калиниченко — зимою за книжкою, летом на молотилке или на свекловичных полях. Работать на молотилке было интересно, особенно — нагонять пар в котел локомобиля и подавать гудок к началу работ, а то и сбегать за завтраком для пана табельщика, от которого быстроногому мальчугану частенько перепадал блин.

Однажды пан табельщик взял Петю с собою на станцию. В такую даль Петя еще никогда не заезжал. Вот за скошенными полями увидел Петя круглую башню.

— Что это?

— Водокачка.

Подъезжая к ветлам, окружающим станцию, удивился Петя клубам белого сияющего пара. Столько пара не давал и локомобиль.

— Что это?

— Паровоз.

И еще через минуту Петя увидел и самый паровоз, животноподобную, горячую и злую, всю сверкающую металлом машину и длинный хвост ярко-желтых и зеленых вагонов, переполненных людьми.

Очарованный мальчик не в силах был вымолвить слово. Посмеиваясь, табельщик дождался, покуда сторож в красивой фуражке ударил в медный колокол. Другой, еще более необыкновенный человек подал свисток, и тотчас же в ответ пронзительно засвистал паровоз, зашипел, окутался паром, тяжело вздохнул и дернул вагоны. Петя ахнул и попятился в испуге. Табельщик, расхохотавшись, ухватился за живот. Он не сводил глаз с испуганно-изумленного Пети, Петя не сводил глаз с паровоза. Знал ли добродушный пан табельщик, к чему все это ведет?

Поезд с сердитым широколицым кондуктором на площадке заднего вагона укатил, поезда не стало… Но началось то, о чем мечталось Пете.

Стали приходить вести от людей, не вернувшихся после русско-японской войны, а осевших на Дальнем Востоке, на Зеленом Клину, как переселенцы называли Уссурийский край.

На шумном сходе решено было выделить ходока, и в тот же вечер в избе Калиниченко стали собирать в дорогу младшего сына, ибо все сошлись на том,*что более деловитого паренька не найти. А как знать — не помогла ли здесь Петру его

мечтательность? Может быть, не только деловитость, но и что-то другое, не каждому понятное, внушало доверие к мальчику, придавало уважения, сообщало силу и прочность всей затее в глазах людей. Так или иначе Петр Калиниченко двинулся в дорогу с той же самой станции, окруженной ветлами, вдвоем со своим дружком Остапом Коцебу на поиски лучшего хлеба, лучшей доли. От мирового посредника маленькие ходоки получили «Ходаческое свидетельство», а по свидетельству — билеты — листки бумаги с надписью: «Дубликат на груз малой скорости» и но этим дубликатам подростки погрузились в теплушку. Вскоре остались позади Киев, Днепр и соборы на холмах — вид, от которого захватило дух у Пети.

Обед стоил пять копеек: щи — в чайник, в шапку — кашу. Но пятачков скоро не стало, а железная дорога все везла их и везла… Давно проехали курчавые уральские горы, неоглядные зауральские степи, простучали по мостам над могучими сибирскими реками; и теперь — который уже день — ехали от станции к станции через тайгу, и опять показались горы.

Растет в дороге человек, неистощима радость узнавания, но сильна и дорожная тревога: уже не вызывали прежнего восторга бродячие артисты с птицей-попугаем или белой крысой, достающей билет на счастье. Уже проехали и город Иркутск и Байкал-озеро, а люди говорили, что миновалась только половина пути. Среди белого дня клонило спать, и люди говорили, что в этих краях другое время. Над головой сверкали другие звезды, утром на ветвях сидели другие птицы.

Голодный Петр не отводил взгляда от пассажира-китайца, который закусывал в вагоне. Китаец понял Петра и, добродушно покачивая головой, что-то приговаривая, поделился с Петром сушками.

Взять это подаяние было легко, потому что китаец делился охотно.

Навсегда запомнился Петру этот спутник-китаец, он как бы подсказал Петру путь, самый нужный и самый трудный — от одного человеческого сердца к другому; нередко впоследствии Петр умел находить этот путь.

Молодой человек понял, что рядом с трудностями, холодом, равнодушием, глупостью всегда таятся другие силы — человеческий разум и добрая воля — только умей отыскать их…

Доехали. Дальше было уже некуда: Владивосток.

На шумном вокзале — начальство и господа. Простых людей не пускают дальше решетки, а тут за решеткой на грудах тюков, сундуков, плетеных корзин лежат русские солдаты и матросы, корейцы с детьми. Присели тут и Петр с Остапом, решая, что

предпринимать дальше? Из всех начальников один показался Петру наиболее доступным — старичок в мундире, на пуговицах орлы — и Петр обратился к нему:

— Ваше благородие, дозвольте спытать, як тут пройти до переселенческого пункта?

— Да ты кто такой?

— Да мы переселенцы, ваше благородие, будьте великодушны.

— Да откуда?

— Да с Киевщины, ваше благородие.

— Да бис вам в бок, — воскликнул тут старичок. — Да сколько вас тут? Двое? Идите сюда.

Старичок с блестящими пуговицами оказался земляком.

Петр тут же и разрыдался, смахнул слезу старичок.

Так опять пролег путь от человека к человеку, самый дальний и самый короткий; и одной приветливости старого сторожа было достаточно, чтобы успокоилась тревога в сердцах новичков. Это ведь не за плетень шагнуть — отъехать десять тысяч верст — в чужой город, где нет никого, кто бы тебя ожидал, а все неведомо и чуждо.

Вдоль длинной улицы на крутых высоких холмах, возвышавшихся за красивыми домами, лепились маленькие домишки, землянки, по-здешнему — фанзы. По другую сторону улицы между домами виднелась широкая бухта, мачты и трубы пароходов, и всюду шум, движение, крики. По мостовой бежали люди, впряженные в коляски с седоками, — то барин в белом летнем костюме, то красавец офицер, а то и барынька в кружевном платье с зонтиком в руке. В бочках развозили питьевую воду, на набережной вдоль бухты толпились грузчики-корейцы, на пароходах гремели лебедки.

Большой мир, о котором мечталось еще подростку, был перед Петром, и неписаная задача состояла в том, чтобы этот, еще непонятный, чужой и чуждый безразличный мир сделать своим, понятным и самому стать его соучастником.

Удача улыбалась. Калиниченко вскоре поступил переписчиком с окладом в сорок рублей. «Вот вымахал куда», — с гордостью думал о себе Петр — и по праву. Вот уже скоро год, как Остап малодушно уехал домой, о первоначальной цели поездки было забыто, из Шендеровки об этом никто не напоминал. Видимо, рассказы Остапа не воодушевили земляков на переселение.

Но если «Ходаческое свидетельство» потеряло для Петра свой смысл, самая ранняя, самая первая мечта забыта не была; то, что

едва ли удалось бы в Шендеровке, удалось во Владивостоке.

По окончании курсов при Народном доме Петра допускали к экзаменам на звание народного учителя. Экзаменаторы спросили:

— Ну, а если на Камчатку — поедете?

— А почему же не поехать. Камчатка! Я там еще не был, — отвечал Петр. — Даже очень интересно.

— Далековато.

— От Владивостока до Камчатки ближе, чем от Шендеровки до Владивостока, — весело отвечал Петр.

Если куда и обращались его взоры, то на восток, а не на запад, за океан, за маяк, виднеющийся с холмов Владивостока на Скреплеве-острове. Оттуда приходил океанский багровый туман. Люди, побывавшие на Камчатке, выглядели крепкими и жизнерадостными. Гораздо труднее, чем шагнуть за океан, было скрывать душевные сомнения. Для начальства края было немаловажно — верующий или неверующий?

— Вы едете в страну дикую, — говорили Петру и его товарищам, молодым учителям, отплывающим на Камчатку. — Вам будет нелегко. А должны учить не только азбуке, но и слову божию, как миссионеры. Вы должны защищать население от безбожников.

И вот тут-то пришлось Петру покривить душой.

…О, как оказался непохож порт Петропавловск на Владивосток! Калиниченко увидел неприглядную деревушку с покривившимися домиками, безлюдные немощеные улицы. С парохода спустили шлюпку, переправили пассажиров на берег — многих из них океан укачал — и пароход снова ушел в океан, а Петр в тот же день получил назначение ехать еще дальше, в Нижне-Камчатскую школу.

Поплыл Калиниченко с провожатым-гиляком и со своим мешком на ботике вверх по реке Камчатке, и снова защемило сердце: скалы, леса, шустрые зверьки, непуганые птицы… Но люди, люди где?

О, насколько неприглядней Петропавловска был Нижне-Камчатск! Не видно ни души — только своры собак. А в школе — прочерненные временем стены, скосившийся пол; в углу, отведенном для учителя, лавка да свеча.

В грязном этом углу, постелившись на лавке, снова зарыдал Петр, как тогда, по приезде во Владивосток. И снова люди, которых он еще не знал, нашли его. В тот же вечер, прослышав о приезде учителя, вступили в каморку старики камчадалы и каждый старался ободрить его, как мог: один оставил ему свое ружье, чтобы учитель мог пойти на охоту, другой предложил

собаку: у этого нашлись высокие сапоги, а у того лишних сапог не было, а было лишь одно нужное доброе слово.

Чудными людьми показались камчадалы — сердечные, простые, мужественные и наивные! Нетрудно было обмануть их японцам рыбопромышленникам, американцам — закупщикам пушнины.

Японцы и американцы торговали и отторговывали; камчадалы охотились, покупали американский хлеб. Русские чиновники управляли. Учитель — учил.

Скоро нельзя было узнать школу — так приукрасилась и окрепла она, а в свободное время Калиниченко приучился ходить на выдру, соболя, лисицу. И все было бы хорошо, да волостной старшина начал беспокоиться: по словам попа, новый учитель не заглядывал в церковь, а приискав себе жену, зажил с нею без венчания. Учителя вызвали для объяснений. Угроза солдатчины, всегда пугавшая Петра, опять нависла над ним. Он имел теперь все, чего желала душа: признательность детей, уважение взрослых, любовь жены, время для чтения книг, благодатное окружение природы. Он полюбил суровую красоту камчатских лесов, их тишину, их шум, его манили тайны снежных огнедышащих сопок, полюбил зверей, птиц и рыб этой страны, ветер, обвевавший ее с океана, — и он не согласился бы теперь оставить Камчатку по доброй воле.

Снова пришлось кривить душой, но и глубже задуматься над злом предрассудка и насилия.

Петр Дмитриевич чувствовал, что учить радостно лишь тогда, когда и сам учишься. Учиться можно всегда, всюду и у всех: у своих учеников, у их дедов, у жены, у природы — только были бы за всем этим истина, добро, разумность. Вот, собственно, такое чувство жизни и старался сообщить учитель своим ученикам в народной школе. Величавая природа, едва лишь тронутая рукой человека, возвышала и помогала ему. Всюду в природе он находил гармонию, естественность, закономерность и верил, что людям тоже не свойственно мириться с несовершенством.

За сорок километров был телеграф, откуда пришла в Нижне-Камчатск весть о свержении самодержавия.

Как быстро ловит человек слово радости или надежды!

Еще не каждый в лесах и горах отдавал себе отчет в происшедшем, а уже из-за сопок, из тайги, с берегов горных рек и лесных озер на собаках и пешком торопились камчадалы в волостной городок. Тропы проходили через Нижне-Камчатск, и Петр Дмитриевич, останавливая то одного, то другого, спрашивал:

— Ты откуда, друг?

— Со Столбового.

— А вы откуда?

— Мы верхне-камчатские.

— Издалека!

— Не весьма: всего девять дней.

Были тут и рыбаки, и охотники, и оленеводы — все, кто натерпелся от начальства и от жуликоватых иностранцев закупщиков. В глазах этих людей в оленьих унтах и медвежьих шубах Петр Дмитриевич видел радость и нетерпение, и ему хотелось еще больше разжечь в людях эти чувства, и он подсказывал им, сам такой же, как они, нетерпеливый и радостный:

— Глядите — будто праздник!

И ему отвечали согласно:

— Верно говоришь, учитель: едем с разных концов, а все на один и тот же праздник.

Все время хотелось быть на людях — и Калиниченко нередко провожал путников до Петропавловска. Люди, никогда не видавшие рядом трех-четырех домов, завидя поселок с его колокольней и отстроенной недавно водонапорной башней, изумленно спрашивали:

— Что это, учитель?

— Башня для воды. Водокачка.

— А зачем на другой башне котел висит?

— Это, Семен, не котел, а колокол.

— Ай да-ай! А это что, учитель, на воде?

— Пароход, — с улыбкой пояснял Калиниченко.

Петру Дмитриевичу вспоминалось первое впечатление от железнодорожной станции. Там мальчиком удивился он паровозу, здесь у причала дымил пароходик, недавно приписанный к Петропавловскому порту… Городок был оживлен, как никогда. На полянах перед домами-срубами собирались люди, держа речи. Со скамьи, поставленной среди толпы, произнес речь и учитель Петр Дмитриевич. И откуда только брались слова и почему так радостно и легко говорилось? Он сказал о том, что теперь по примеру Петропавловска, где низложен губернатор, надо считать низложенными и волостных старшин, а вместо старшин избрать по волостям революционные комитеты.

Как везде по глухим краям необъятной страны России, здесь тоже камчатский учитель, врач, агроном, зоотехник оказались тою силою, без какой трудно было создать порядок на новых разумных началах. Прежде ограниченное служение народу становилось служением неограниченным, прямым и широким,

разносторонним и ярким. Размах перенимался от самого народа — и размах, и действия, и прочность утверждения. В этом всеобщем движении люди мужали и облагораживались. Их усилия вознаграждались щедро.

Что из того, что долгое время не от кого было требовать зарплаты? Что из того, что позже — в двадцатом году, в пору лютой японской интервенции — у берегов Камчатки угрожающе дымили не мирные каботажные пароходики — внушительные многотрубные крейсеры и миноносцы, заносчивые наглые капитаны издавали приказы: «Всякий, кто посягнет на достояние японских граждан, будет наказан немедленно и беспощадно…»

Несмотря на все это, люди, только что вкусившие от революции и уже отторгнутые от нее силой и пространством, не смирялись, не шли на сделки с японскими офицерами, торговцами и промышленниками. Не имели хлеба — питались одной рыбой, не переставали, однако, учить детей, врачевать больных, понемногу насаждать свой хлеб, а главное, верить в революцию и отстаивать дело народа.

В эти годы Петр Дмитриевич был избран секретарем ревкома.

О том, что происходит на Большой земле, к западу от Байкала, еще дальше — за Уралом, в Петрограде и в Москве, тут не знали долгими месяцами, но самое народное из всех учений, учение Ленина о мире, о хлебе, о правах и достоинстве трудящихся — это учение и тут стало понятно раз и навсегда по первому же слову.

В двадцать третьем году разразилось небывалой силы землетрясение.

Небо разорвалось с грохотом и треском скальным, казалось, на части разрывается земля. Люди бежали в ужасе, куда глаза глядят, покидая дом, скотину, огниво, ружье и порох. II долго еще, покуда земля остывала и затихали огнедышащие сопки, камчадалы-лесовики не решались возвращаться в долины, в дома.

Учитель Калиниченко немало потрудился над тем, чтобы вернуть людям самообладание, разъяснить им смысл грозного явления. У него отросла борода, воспалились глаза от усталости и едкого дыма, еще курящегося повсюду, но он первым поселился на склоне еще не совсем утихшей Ключевской сопки. В недрах земли под ногами гудело, шевелились стены шалаша, как от ветра, а Калиниченко с этого яруса восходил еще выше к кратерам-паразитам, вулканизирующим вокруг главного кратера: Петр Дмитриевич хотел убедиться, что пламя затихает. Под его ногами еще не совсем застыла излившаяся лава, то здесь то там вдруг раскрывались щели и раскаленные каменные глыбы с

пушечным грохотом взлетали, потрясая воздух. Калиниченко не отступал: своим примером учитель хотел внушить людям бесстрашие, спокойное понимание грозных явлений природы, смущающих душу. «Мужество человека сильнее прихотей стихии», — утверждал он этим. И что же? Многие из тех, кто уже было отступил, успокоились и вернулись к избам. «Человек на Камчатке — сокровище, — думал про себя Петр Дмитриевич. — Надо беречь каждого человека. Не будет тут людей — не будет Камчатки».

Мужественный, разумный и свободный человек ехал с Камчатки в Москву…

Петр Дмитриевич Калиниченко ехал через всю страну — дорогой, по которой полвека назад, юношей, он проезжал на Зеленый Клин.

За это время многое произошло в стране.

Часто припадая к окну вагона, Петр Дмитриевич видел великолепные вокзалы, стройные мосты, перекинутые через могучие сибирские реки, расчищенную тайгу, розовые стволы столетних сосен со знаками человеческого труда; и опять окраины новых больших городов, заводы, аэродромы, неоглядные водные запруды, бесконечные под самый облачный горизонт хлебные поля…

Многое тут произошло без него, о многом на Камчатке знали только понаслышке, но всматриваясь в обновленную Сибирь, Петр Дмитриевич самолюбиво и радостно думал о том, что и в селениях и городах Камчатского полуострова тоже сделано немало для справедливой, разумной и веселой жизни. Почему-то вспомнились первые митинги на порастающих лопухом н травою улицах давнего Петропавловска, вспомнилось чувство свободно и радостно льющейся речи. Страна не только обновлена — произошло что-то большее, но Петр Дмитриевич не мог приискать слова. Что это? Ему вспомнилась сказка, слышанная в детстве: волшебное повеление пробуждало к жизни то реку, то гору, то зверя — целые куски недвижимого мира, в которых и не думали видеть жизнь…

Так же радостно и свободно было на душе сейчас, такое же ощущение внутреннего душевного обогащения и достоинства.

Подъездные пути к станциям были запружены товарными вагонами с надписями: «Днепропетровск — океан» или «Челябинск — Комсомольск»… Конца не виделось длинным вереницам открытых площадок с ярко крашенными сельскохозяйственными машинами, тракторами, автомобилями.

Все сильнее билось сердце у человека, состарившегося

вдалеке от своей родины, никогда не бывавшего в Москве, куда он приглашен теперь. Петр Дмитриевич наконец признался: он едет в столицу по приглашению Академии наук на конференцию по использованию горячих вод Камчатки, а заодно — для получения ордена…

За Уралом, в Европе небо пошло светлое, голубое; и березки, терявшие листву, казались особенно трогательными.

До Москвы оставались сутки езды.

Иные дома селений, как бы иные люди на станциях — иначе ступают, иначе смотрят вслед за поездом.

Даже леса за Галичем пошли иные. Всюду бесшумно дымили электростанции.

— Две перемены, — вдруг сказал Петр Дмитриевич и пояснил: — Другая география и другая история. Вернее, другое время. Но, замечаю я, эта вторая перемена общая, одно и то же и там, на Дальнем Востоке, в Сибири, и тут — в Европе, под нашей Москвой. Отогрелась страна — и вот родит!

Кажется мне, что это сказано очень верно, точно.

Теперь Петр Дмитриевич не отходил от окна. Я начинал волноваться заодно со стариком.

На повороте в приоткрытое окно вдруг как-то по-особенному дунуло ветерком. Петр Дмитриевич обернулся и торопливо вынул из кармана платок. Я отступил от него. Успокоившись? — Петр Дмитриевич сказал:

— Запахло… Запахло, как у нас на Киевщине… Ну, ничего, простите! Вот, видите, в третий раз, и все такое же счастье.

Я понял, о чем думает Петр Дмитриевич, что значит «в третий раз». В третий раз он заплакал на дорогах жизни от сильнейшего ощущения ее самой, самой жизни, добра ее.

Петр Дмитриевич снова заговорил: о сердитом батьке, о ласковой матери, о брате. Вспомнил он пыхтение маленького локомобиля, тучу соломенной пыли над веялкой, пана надсмотрщика, угощавшего блинами сметливого паренька…

Естественно было спросить Петра Дмитриевича, собирается ли он после Москвы туда, на Киевщину, в давнюю свою Шендеровку?

— Не знаю, дорогой! А ей-богу, не знаю, — негромко с заметным украинским акцентом отвечал Петр Дмитриевич и вдруг даже щегольнул украинским словцом: — Да и треба ли? Судите, сегодня двадцать первый день пути. Вон как издалека еду. Океан… Великий Сибирский путь… А притом, — исконными русскими словами сказал Петр Дмитриевич, — дивное дело дивится мне: что домик мой под Ключевой сопкой, — знаете, из окна видна вершина вся в снегу, — ближе, чем та старая

Шендеровка… — И опять Петр Дмитриевич прикинул с хохлацкой задорной горячностью: — А и те ж! Старенька наша Шендеровка, теперь, не сомневайтесь, другая, совсем другая… Страшновато как-то. Я поехал поездом — не самолетом, чтобы страну посмотреть, знал, что все переменилось. А Шендеровку видеть другой страшновато…

Поезд подходил к Загорску. А в голубом небе, как звездные ризы, стояли дивные голубые купола древних соборов с распластанными на них золотыми звездами — и это уже совсем заворожило Петра Дмитриевича. Снова, как сказку о вдруг оживших камнях, он вспомнил мечты детства и Печерскую лавру, мимо которой когда-то проходил поезд по дороге из Киева в Иркутск.

С криками бежали по платформе, спеша к поезду, городские школьники с рюкзаками за плечами. Должно быть, дети возвращались из школьного похода. Иногда падал, крутясь и догоняя детишек, осенний лист.

Следя веселыми глазами за этой жизнерадостной, голосистой толпой, Петр Дмитриевич, все более оживляясь, стал рассказывать, как провожали его под Ключевской сопкой — всей семьей вместе со всею школой. Откидывая прядь жестковатых седых волос, щуря совсем подобревшие карие глаза, Петр Дмитриевич полез во внутренний карман п, как бы закрепляя наше знакомство, развернул пачку фотографий.

Что сказать? Был там и домик на Камчатке, домик, к которому ближе, чем к старой, а то и обновленной Шендеровке, и сосны вокруг, и скалы, и далеко за домиком знаменитая могучая конусообразная снеговая вершина вулкана.

На фотографиях всегда всего интересней лица людей. Но тут было еще и добавочное чувство, то, с каким всегда смотришь на далеких соотечественников, па соотечественников-путешественников… Больше того! Нарастало чувство, с каким смотрят на героев. У детей это чувство особенно остро: им хочется быть такими же, подражать, верится, что это в их силах, — вот как бывает у детей! Увы, взрослые не так счастливы. Взрослый чаще чувствует, что у него недостаточно для этого сил. Не всякий способен подставить спину под дождь в ненастный вечер, когда можно не выходить на дождь из дому, оставаться у очага. А ведь как раз от этой способности, от этой вдохновенной молодой силы многое в мире и происходит — и путешествия, и другие подвиги.

И вот в людях, которые были передо мною, прежде всего чувствовалась эта сила.

Хорошие люди были на фотографиях, показанных Петром

Дмитриевичем! Мы увидели тут и взрослых мужиков — сынов человека с Камчатки, и школьников в пионерских галстуках.

В смелых открытых лицах парней замечалось то выражение, какое подметил я в лице Петра Дмитриевича — и пытливость и сосредоточенность. В широком строении мужских лиц было кое-что и от внешности немолодой низкорослой женщины, дочери камчадала-лесовика, жены Петра Дмитриевича. Она стояла тут же, среди детей. В общей группе, выстроившейся перед зданием школы, за которым темнел камчатский лес, эта женщина казалась не только невысокой, а совсем щупленькой, скорее, ровней детей-школьников, а не матерью крепких мужчин, щеголявших перед фотографом кто новым городским пиджаком, а кто дорогими мехами, охотничьим снаряжением, ружьем.

Стало быть, нелегко было ответить на задорный вопрос Петра Дмитриевича, в кого вышли дети: в отца или в мать? Все они были люди Камчатки, все — герои, равно интересные, прекрасные. Обо всех думалось словами Петра Дмитриевича: каждый человек на Камчатке — само сокровище…

Сокровище — какое слово!

Академический городок

Кондуктор автобуса, маршрут которого проходит по Морскому проспекту, выкликает остановки: «Ядерная физика»!.. «Гидродинамика»!.. «Экономика»!.. Не удивительно ли? Разве не странно: главная улица городка, разбитого среди тайги, называется Морской проспект? Объяснение, однако, несложное: Академгородок Новосибирского научного центра вырос на берегу Обского моря у его северного края, городок мысли, мечтаний, труда и свершений, городок особенный, впрочем, подобный Другим городам, выращенным советской интеллигенцией — Дубне, Обнинску, где я уже бывал.

Знакомство с этими городами и их населением доставляет не только удовольствие.

Непосредственный повод моей поездки был все-таки необычайный. Что сказать о самочувствии человека, получившего в наши дни приглашение на юбилей Остапа Бендера: приезжайте или, по крайней мере, отвечайте на вопросы: «Что делали Вы 25 апреля 1927 года, когда состоялась первая встреча Остапа Бендера с Воробьяниновым в дворницкой его бывшего дома?» — «Встречались ли Вы с Остапом Бендером? Жив ли он или, по крайней мере, живет ли память о нем на его родине?»

Такое письмо получил я. Надо полагать, авторы письма знали о моих связях если не с самим Остапом Бендером, то с авторами романа «Двенадцать стульев» — Ильфом и Петровым.

Теперь вы знаете непосредственную причину моей поездки в Новосибирск. И мне хочется хотя бы бегло рассказать о том, что я видел и слышал в необыкновенном городке среди тайги на берегу Обского моря.

Не случалось мне до сих пор видеть на первомайских транспарантах знаменитую формулу Эйнштейна, выражающую соотношение энергии и массы. Но не только эта физико-математическая формула, состоящая из нескольких знаков, служила эмблемой жизнерадостной толпе демонстрантов.

Много весенних демонстраций пришлось видеть мне на своем веку. Я помню плакаты, транспаранты и диаграммы первомайских демонстраций времен первой пятилетки. Вот самовары домен, запроектированных на Магнитострое, вот модели новых мощных паровозов, а вот и могучая дуга плотины Днепрогэса… Многое из этого я видел и на плакатах и в действительности. Не раз видел я красу войсковых и флотских парадов. Но никогда не видел я в голове шествия лаконичную формулу Эйнштейна и под нею — молодых ученых, возносящих плакат: «Привет Лейбницу, творцу

интеграла…», «Перекуем мечи на орало и интеграло!» — Это шагали затейливые шутники в голубых шарфах — молодые ученые… Среди них не было моего сына или внука в прямом значении слова, «но, думалось мне, ведь это шествует поколение наших сыновей, тех молодых людей, что тридцать лет тому назад месили бетон на Днепре или в сорокоградусный мороз монтировали на Магнитострое домны, — так смотри же внимательней, не упусти ничего!» — и меня уже не смущало то обстоятельство, что кое-кто из этих молодых людей, такие иные, такие непохожие на нас в наших общежитиях и на наших плотинах…

И очки… Очки… Очки…

Должен я тут сказать еще и о том, что прежде не приходилось мне видеть такого количества молодых пап и мам. Малыши, как и полагается им, доверчиво пристраивались на плечах у пап, а мамы весело маршировали рядом, помахивая цветком или флажком.

Любопытная подробность: в городе уже насчитывают более двадцати пар близнецов, составивших естественные объекты тонких исследований относительной роли наследственности и среды в развитии человеческих способностей. Судите сами — один из близнецов почему-то станет хорошим музыкантом, а другой — хирургом. Почему? Но уже есть в городке немало генетиков и врачей, желающих посвятить себя этим исследованиям.

Все под рукой в этом удивительном городке — и близнецы, и грандиозные ускорители, и прекрасный ботанический сад, и тайга.

Тут все молодо, энергично, светло и все должно быть разумно и благородно.

Радостно убеждаться, что здешняя молодежь это понимает и ценит.

Среди новых моих друзей я нахожу и тех, кто преодолел сопротивление папы и мамы и приехал сюда издалека для того, чтобы слушать лекции академика Соболева.

Интересно заметить, кстати, что в притоке населения теперь уже преобладают прямые сибиряки. Поэтому мы вправе сказать, что городок сей становится разумом Сибири, совестью Сибири, будущим Сибири преобразовываемой.

Я видел город, в котором нельзя не оценить смысл истинной интеллигентности, где открыта школа смелой мысли, бескорыстной страсти, интеллектуального мечтания. Если есть города будущего, города трудового братства, то я видел такой

город. И в городе этом не только добрая воля науки, не одна лишь академия наук — и седовласых и еще безусых — тут прекрасная молодость наших детей и внуков…

Даже несколько странно наблюдать в городке, таком молодом, еще, собственно, не накопившем ни истории, ни своих традиций, то, что называется патриотизмом. Однако когда я сам однажды критически высказался об архитектуре городка, производящей впечатление резкого контраста с тем, что происходит за плоскими унылыми стенами, воздвигнутыми и необдуманно и безучастно (разве за исключением интересного комбината зданий — гостиница, почтамт, торговый центр, широкоэкранный кинотеатр) — мои собеседники в один голос воскликнули:

— Пусть так! Дома стандартные и некрасивые. Но разве это важно, если в этих стандартных стенах под низкими потолками живут и делают свое дело нестандартные люди. У нас, может быть, тесно, но у нас светло. А пахнет либо тайгой, либо… книгами, что ли… Ну, что сказать? Разве бьет в нос душок мещанства? Разве увлекаются у нас магазинно-рыночными проблемами? Скажите, что это не так.

И я согласен с моими собеседниками: у меня тоже такое впечатление, будто обычные хозяйственно-бытовые заботы напоминают о себе здесь как-то вскользь, мимоходом. Но зато не раз меня, случайного человека, посвящали в тревогу по поводу хода защиты той или иной диссертации. И когда, наконец, передо мною облегченно вздыхали: «Он защитился, защитился отлично», — реплика звучала не только законным признанием — прав диссертанта — она отзывалась общим праздником. Дух трудового братства не нарушается, кажется мне, даже необходимостью четкой административной иерархии, соподчиненности, требованиями дисциплины, что так беспокоит иных молодых людей. Тут смысл существования неотделим от смысла творимого, что всегда наблюдается в счастливые периоды сильных ярких импульсов истории. Не надо этого забывать, а также и того, что не везде двадцатипятилетние запросто выступают в ролях, которые в Москве поручают сорокалетним, не везде открыто такое поле для молодой творческой фантазии и бодрых умов.

Думаю, и Ньютон, и Лейбниц, и Эйнштейн тоже мечтали о таком духе сожительства, и неспроста в головах первомайских колонн несли эмблему — формулу великого физика, говорящую о том, что энергия равна массе, помноженной на скорость света в квадрате.

За окном стоял слегка пасмурный весенний день — земли.

Институтский район городка — в его возвышенной части, и поэтому из окон верхнего этажа видно далеко — и жилые кварталы, и тайга до самого Обского моря.

Хотя годовой баланс солнечных дней в Новосибирске выше, чем в Сочи, ранней весной на берегу Оби бывает зябко и пасмурно. Вот даже, кажется, пригрело, девушки торопятся щегольнуть летним нарядом, и вдруг опять подул холодный сибирский борей. Может быть, в этом сыроватом колорите весенней мги и внешность городка несправедливо казалась мне столь неожиданно-невзрачной. Не очень порадовало и Обское море. Оно было покрыто грязно-белым тревожно набухающим ледовым покровом. Кое-где чернеют пятна полыньи, и при удаче можно увидеть местного «моржа», а то и «моржиху» — бесстрашных зимних купальщиков. Мне кажется примечательным и это: привычка к редкому спорту распространена здесь среди работников науки.

Шумит сосновый лес. Противоположного берега пе видно. Просторно.

Подумать только, что когда-то на этих берегах стоял Ермак.

…Я любил бывать здесь на закате, тут вспомнил я необыкновенно красивые огненные закаты над Магнитной горой: многие из нас, молодых журналистов, филологов, юристов, сбежавших от своей прямой профессии «на бетон первых пятилеток», многие из нас мечтали в те годы о том, что нашел я теперь в Академгородке на Обском море, — узнал и полюбил, хотя и продолжаю думать, что нет моря лучше, чем море нашей юности — Черное море. И я даже подозреваю, что ко мне так дружелюбно отнеслись в Академгородке как раз потому, что здесь тоже любят писателей и поэтов, бывших друзьями моей молодости.

> *Среди множества поучительных уроков, радостей и чудес, ежедневно преподаваемых нам жизнью, самым радостным и поучительным готов признать встречи с милыми, добрыми или многоопытными людьми.*
>
> *Не всегда мы понимаем это вовремя. Чаще лишь потом мы ощущаем прошедшее как минувший и, к сожалению, плохо отмеченный праздник: «А ведь это был праздник! Как грустно, как жалко, что тогда я не понимал этого, не ценил, не овладевал доверчивой мыслью друга или просто собеседника. Не сумел разделить того высокого чувства, какое готов был сообщить мне он».*
>
> *Ведь дружба тоже неповторима.*
>
> *В грозу много ударов молний, в дороге много*

случайностей, но и прокатившаяся перед твоим взором волна, и блеснувшая вдалеке молния, и все другое — ничто ни в чем не повторяется. Не повторяется и дружба, каждый раз она другая.

И не всегда встречи бывают буквальными, то есть беседа лицом к лицу. Иногда думаешь о желанном человеке за глаза. Но ведь это тоже встреча. Часто и за глаза ты беседуешь с другим.

И такие встречи тоже надо ценить, оберегать, просветлять до ясного понимания причины твоей думы о человеке.

Так мы передаем друг другу лучшее из того, чему научились сами. Удар жезла — и открылся источник откровенности — неповторимый, единственный.

Так живем мы друг в друге, и сами в кругу друзей, умных, сердечных собеседников, даже тогда, когда их с нами нет. Может быть, как раз это чувство таинственного общения с другими способствовало сотворению прекрасных легенд старины. Среди них — и вера в бессмертие человеческих душ.

Напрасно иные думают, что путешествовать интерес- но только в будущее, или на Луну, или еще дальше… А в в душу, в свое прошлое? Воспоминания — это ведь тоже путешествия, и ой, как бывает интересно! И есть что тут почерпнуть!

Мне всегда казалось: удивительный и мудрый образ пушкинского кота у дуба на Лукоморье — «Златая цепь на дубе том» — это в сущности и есть мысль о чудесной и благотворной преемственности всего лучшего — не только у одного человека от другого человека, но и у поколения от поколения.

Писателю естественно думать о своем повседневном устрашающе-радостном важном деле. Думаю об этом и я. И путешествие в самого себя, в свою жизнь, не менее интересно и важно, чем путешествие в Африку или в будущее своей страны.

Тот, кто ничего не находит в себе и поблизости от себя, тот едва ли увидит что-нибудь и на Байкале, и в Африке, и на Луне, а также — ив хорошей книге.

Обо всем этом думаю и я.

Вероятно, об этом думается беспрерывно, и поэтому праздным представляется мне вопрос, с каким нередко обращаются к литератору и к художнику: «Над чем вы сейчас работаете?»

Писатель, художник, поэт всю жизнь, всегда, при любых обстоятельствах работают над одним и тем же: над совершенным постижением жизни и своего ремесла — хочет быть и ясным, звонким эхом, и проницательным правдивым пророком. Этому помогает все — и праздник и будни… О, как важно научиться ценить то, что происходит вокруг нас, казалось бы, буднично, ценить и запоминать все, что повседневно стараются вверить нам близкие и любимые люди. Все это — жизнь, и притом часто это и есть трудноуловимая жизнь духа.

Знаю: это нелегко. Больших нравственных сил требует готовность жить правдой, как бы взаимным просвечиванием… Это бывает в любви.

И среди встреч с моряками, с учеными, с путешественниками, с детьми — со всеми юными и зрелыми — все-таки не скрою: самыми желанными и незабываемыми были встречи и беседы, дружба или знакомство — с кем? — с писателями, с художниками.

Эти встречи были и самыми душевными и, вероятно, самыми полезными для человека, имеющего смелость и себя относить к этой профессии.

И днем и ночью…

«…и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом».

Воспоминания не безмолвны

В те времена литература в Одессе была устной.

На улицах торговали сахарином и камешками для зажигалок. Спекулянты-валютчики толпились в Пале-рояле, в уютном сквере у городского оперного театра.

На улицах Петра Великого помещался коллектив поэтов.

И вот здесь-то в те времена я и познакомился с Митей, прообразом будущего Остапа Бендера. Литературный герой сатиры, ставшей популярной и знаменитой, заимствовал кое-какие черты от этого Мити, а кое-что от другого человека — по имени Остап. Я знал их обоих.

Можно было дивиться, откуда у Мити, прихрамывающего на одну ногу, столько энергии и предприимчивости. Стихов он не сочинял и не декламировал чужих, но знался дружески со всеми пишущими, а главное — чего уж теперь скрывать — прихрамывающий, всегда улыбающийся, Митя Махер чуть ли не с детских лет умело обделывал свои делишки и охотно помогал другим — с тою же ловкостью, что и его земляк и двойник — рослый, рыжий, грубоватый Остап. Этот тоже не сочинял стихов, прибился он к поэтической молодежи заодно и вслед за своим братом поэтом Фиолетовым.

Я не раз слышал впоследствии признание от старших литературных товарищей — Багрицкого или Катаева, — что они многим обязаны Анатолию Фиолетову-Шоу, его тонкому смелому вкусу. Толя Фиолетов любил опасность, искал ее, хотя его светлые и трогательные стихи ничем не напоминали об этой его склонности. В стихах он был другой, нет, тут он не был похож на Артура Рэмбо. Особенно полюбилось нам его четверостишие:

О, сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования…

И мы часто повторяли это четверостишие, как поговорку.

Фиолетов работал в угрозыске до того, как подобные же романтические поиски привлекли сюда же Евгения Катаева. Неосторожность рано погубила Фиолетова. Его брат, Остап, оказался удачливей…

Вернемся, однако, к хромому Мите.

Ловкач ухитрился занять обширную квартиру, наполненную

обломками стильной мебели. Вселения в заброшенные квартиры в те годы случались нередко. С Митей поселился Багрицкий, которому наскучило жить в полутемной и вонючей квартире на Ремесленной улице у мамаши.

Вот так и начался коллектив поэтов, до этого не имевших постоянной аудитории. Сюда, на улицу Петра Великого начали ходить Юрий Олеша и Валентин Катаев, Зинаида Шишова и Адалис, Марк Тарловский, Илья Арнольдович Файнзильберг (Ильф тогда еще не был Ильфом, знали его фамилию, а не литературный псевдоним), с ним неизменно приходил немного хмурый, малословный Лев Славин; было непонятно, что их соединяет — юношеский наигранный снобизм или ироничность; даже друг с другом эта пара держалась подчеркнуто холодновато.

Если не ошибаюсь, чтения происходили по средам и субботам. В эти вечера самая просторная комната буржуазной квартиры с венецианским окном наполовину без стекол, наполнялась поэтами и художниками, девушками, любящими стихи, студентами, прежде ходившими на чтения «Зеленой лампы». Появлялся здесь и Георгий Шенгели, уже определившийся поэт, акмеист, автор самостоятельных книг. Его аккуратному классицизму как бы противостоял во всем — и своими «хлебниковскими» поэмами и самим видом нищего дервиша — маленький ласковый, миленький Всеволод Шманкевич, ни зимою, ни летом не снимавший рваной, затасканной солдатской шинели, весело попыхивающий толстыми самокрутками. Мимолетно блеснули талантливыми стихами Эзра Александров из Ново-Базарного переулка и неведомо откуда появляющийся Наум Сердитый, и в самом деле сердитый молодой человек двадцатых годов — один — тонкий, изящный, мечтательный лирик, другой — бурно-неудержимый сатирик. Именно сюда пришел, да простится мне эта подробность, еще в коротких штанишках четырнадцатилетний футурист-будетлянин Сема Кирсанов, уже тогда поражавший нас зычным чтением своих звучных стихов. Позже появились меланхоличный Гехт в кожаной куртке наборщика, совсем юный Липкин, Владимир Бгаевский. После чтения, случалось, толпой вваливались в семейный дом к кому-нибудь из девушек-поэтесс, дочери профессора пли прославленного врача.

Знакомились быстро и часто — навсегда.

Группа «Зеленой лампы» — Багрицкий, Олеша, Зинаида Шишова — успешно перенесла сюда вкусы и манеры зеленой лампы — преданность Пушкину, истинно-поэтическое бескорыстие…

Все это привлекало и очаровывало с первых же звуков

голосов молодых и, право, вдохновенных. Может быть, даже не хватало некоторой солидности. Стихи, стихи, стихи… И, конечно же, теперь это ясно: нужно быть благодарным и Мите, и рыжему Остапу, безотказно принявшим на себя мелкие бытовые заботы — выхлопотать через наробраз несколько дополнительных пайков или достать стекло для окон, дрова, устроить горячие ужины для поэтов, выступавших по вечерам в кафе «Мебос», что значило «Меблированный остров».

Первый приезд в Одессу Михаила Светлова и Михаила Голодного для одесской литературной молодежи стал праздничным событием. Обоих уже знали и любили.

До этого бывал в Одессе и Владимир Маяковский. Бывали Всеволод Иванов, Лидин. Но молодые комсомольские поэты здесь еще не бывали. Легко представить себе, как не терпелось нам познакомиться с поэтами, стихи которых уже печатались в «Красной нови», «Молодой гвардии», других столичных изданиях. Эти стихи мы знали наизусть — и светловские «Рабфаковку», «Теплушку», и стихи Михаила Голодного — «Шахтер», «Артему Веселому». Много было любимых стихов! С волнением и надеждой ждали появления свежих книг и журналов.

Теперь не все знают, что первый крупный советский литературный журнал «Красная новь», организованный при участии Ленина и Горького, издаваемый в те годы под редакцией Александра Воронского, был призван организовать и развить советскую литературу. И он стал литературной альма-матер для быстро крепнувшей художественной литературы. Каждый номер журнала преподносил читателям новое имя; и многие из этих имен становились энергией и силой молодой литературы. Воронений сумел объединить авторов разных направлений. Общим требованием, как бы девизом, журнала было: советская гражданственность и талант!

Я помню редакцию «Красной нови», когда она помещалась в Кривоколенном переулке на Мясницкой — в полутемном помещении (хотя окна и были большие), предназначавшемся, очевидно, для магазина, на первом этаже — две или три комнаты.

Вы входите. В углу за конторкой человек невысокого роста с серым, несколько одутловатым лицом листает рукопись. Это Воронений. Из угла в угол ходит по комнате такой же низкорослый курносый молодой человек. Это Василий Казин, заведовавший в редакции отделом поэзии. Во второй комнате стучала машинка, там же помещалась бухгалтерия журнала.

Происходило первое знакомство. Деловито и всегда

благожелательно, с большой заинтересованностью Воронений знакомился с новым автором, иногда тут же листал рукопись. Если рукопись внушала ему доверие, он говорил:

— Так… так… Сегодня у нас (допустим) вторник, придете на будущей неделе в четверг. К тому времени с рукописью вашей познакомятся… Очень рады.

Вы приходили через неделю в четверг — и нередко случалось, что молодой автор «в четверг на будущей неделе» становился постоянным, неизменным сотрудником журнала, иногда — славой советской литературы. Так — это общеизвестно — появились Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Лидия Сейфуллина, Артем Веселый… Да разве всех перечислишь!

Если к этому добавить кипящий в углу на столике самовар, то будет довольно полная картина будничной жизни редакции московского литературно-художественного журнала двадцатых годов.

Ну, а если простота нравов была свойственна столичным журналам, то уж совсем просто было в Одессе. Правда, толстый журнал тут не издавался, проза, поэзия, критика печатались на литературных страницах газет, в еженедельных и ежемесячных журналах («Силуэты», «Шквал», «Юголеф»), часто устраивались литературные выступления и чтения. Еще жили здесь старые писатели Александр Кипен, Осипович, Дерибас, помнили приезды Алексея Толстого, Куприна, Бунина, радовались успехам своих земляков Валентина Катаева, Веры Инбер (в печати еще не появились ни «Зависть» Олеши, ни «12 стульев» Ильфа и Петрова), запросто встречались с Исааком Бабелем, уже опубликовавшим первые рассказы из «Конармии», быстро прославившиеся, с Эдуардом Багрицким, все еще не решавшимся оставить Одессу для Москвы.

Вот тут-то и вернемся к Мише Светлову и Мише Голодному, к хранящемуся у меня оригиналу старой фотографической карточки, к ее истории.

Я говорю: ни тени, чванства не замечалось в молодых столичных гостях— да и откуда ему быть! Многие еще носили шинели недавнего времени гражданской войны. Если привычка вторая натура, то натурой молодых людей двадцатых годов становились их комсомольские навыки. Характер да и сама внешность молодого человека в шинельке или кожаной куртке вырабатывалась на бурных, дождливых и снежных дорогах, среди митинговых и вокзальных толп, в пылких хотя бы и дружных схватках-дебатах — и на трибунах, и за семейным столом. А если над ними склонялась Муза, то это была Муза в красной косынке.

Не могло быть и в помине чувства неравенства какого бы то ни было. Не было никаких других различий, кроме различия в политических, классовых, сословных симпатиях и антипатиях. «Вышли мы все из народа» — слова эти оставались не только словами песни, так же, как и знаменитое: «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян». И вот еще чем отличалась наша дружба: соединяясь, познакомившись друг с другом, молодые люди не любили расставаться, во всяком случае дружба уже не забывалась.

Так случилось и на этот раз. Мы старались не расставаться. Москвичей в Одессе многое интересовало: одесский Привоз — базар, рынок, на который съезжались крестьяне пригородных районов. Новая экономическая политика Советской власти, замена продразверстки продналогом к тому времени давала свои ощутительные плоды. Базары приобретали утраченный было вид: пестрота, изобилие, довольство. Веселый шум, певучий украинский говор, бойкие базарные выкрики. По утрам мы обычно шатались по базарам или шли к морю «на камешки», в порт — к пароходам, к дубкам, в самый конец длинного, изгибающегося дугой брекватора, к маяку. Солнце, воля, волны воодушевляли поэтов, мы декламировали.

Не раз приходилось мне впоследствии осуждать любителей запечатлевать свои имена на грозных скалах Кавказа, где-нибудь на стенах архитектурных памятников. Что поделать, приходится сознаться, что прежде случалось это и со мной. Именно тогда у самого одесского маяка на конце брекватора — благо, кроме нашей компании на брекваторе под ударами прибоя никого не было, а сторож маяка, вероятно, отсыпался после ночной вахты — на белокаменной шершавой поверхности маяка, радуясь солнцу, морю, дружбе с московскими гостями, я, помнится, начертал:

Мы к морю привели Светлова,
И внял он гласу волн с полслова.

Миша в долгу не остался и, отпустив какую-то шутку в осуждение поэтического порыва, к моему двустишию добавил свое:

Тут в поэтическом ударе
Зашиб меня Сергей Бондарин.

Обедать мы ходили, обычно, в клуб-ресторацию Юголефа под вывеской «РОЖ», что значило: Работа — Отдых — Жратва. Это предприятие существовало на страх и риск сторонников Левого

фронта искусства (Юголеф). В целях эпатирования буржуазии, что в годы нэпа представлялось нам очень актуальной задачей, мы, сторонники левых искусств, в ресторанчике, который должен был служить, по нашему замыслу, материальной базой для идеологической надстройки, время от времени устраивали незамысловатые инсценировки. Так, например, в часы отдыха или обеда и без того немногочисленных посетителей клуба-ресторанчика с улицы вдруг раздавалось как бы церковное пение: открывалась дверь, группа молодых людей и девушек вносили гроб. Да, гроб. Насколько помню, сколоченный из досок, просмоленный, как лодка, черный, плоский гроб. В гробу лежал человек и курил папиросу. Случалось, ложился в гроб и я.

Конечно и на этом, и на некоторых других способах, применяемых нами для утверждения идей левого искусства, стоило бы задержаться больше; может быть, я это и сделаю в другом случае, а сейчас скажу только о том веселом впечатлении, которое произвел на наших гостей этот забавный эпизод.

Миша Голодный поперхнулся. Светлов молча проводил глазами процессию, обошедшую столики, оглядел онемевших за столиками посетителей и, улыбаясь, спокойно сказал:

— Интересно, тот парень, что лежит в гробу, он и олицетворяет собой левое искусство?.. Если так, то едва ли стоит ему так беспечно покуривать: есть над чем подумать.

Светлов всегда умел съязвить беззлобно и грациозно. Но мы не поняли язвительности светловского замечания. Здесь кстати будет сказать и о том, что когда нам случилось защищать свое предприятие перед Маяковским (а было и так), Маяковский, должно быть, щадя восторженную молодость, на наши Доводы отозвался примерно такими словами: «Говорите, материальная база… Что ж, пробуйте, если это не мешает вам. А все-таки лучше — пишите и читайте стихи».

Затей было немало. Их порождало время. Много причудливого и забавного, уродливого и неуклюжего, но иногда и незабываемо-прелестного, чудачного придумывали в те годы и в Москве, и в Ленинграде. Старалась не отставать от затей на фронте искусств и провинция. Странно было бы, если бы не увлекалась этим и одесская молодежь.

Не чурался веселой компании и Багрицкий.

Однажды Багрицкий всех нас поразил новостью. Стало известно, что в допре (Дом принудительных работ — так называлась тогда тюрьма) содержится в заключении молодой разбойник — такой же, каким был герой одноименной повести

Леонида Андреева Сашка Жигулев. И этот молодой разбойник по имени Сашка тоже рыцарски выступал в защиту бедных, униженных и оскорбленных, грабил богатых, кулаков и награбленное отдавал неимущим, даже якобы спускал под откос поезда. «Сашка Жигулев да Сашка Жигулев!» Образ доброжелательного разбойника овладел нашим воображением. А как же это заманчиво, интересно — показать такого разбойника москвичам! Говорили, что он — паренек из одесского Александровского парка, другие — с Молдаванки, но и те и другие утверждали, что Сашка, кроме всего, сочиняет еще и стихи и песни.

Нужно сказать, что одесская тюрьма тоже была как бы городской достопримечательностью, вроде приморского бульвара, Привоза или оперного театра. Еще хорошо помнили, как в первый же год Октябрьской революции в мрачной тюрьме была провозглашена Тюремная республика. Основателем и первым президентом республики был не кто иной, как Григории Котовский, в ту пору сидевший в тюрьме, где приговор к смертной казни заменили ему пожизненным заключением. Говорили, что на стенах тюремных камер еще можно видеть цитаты из «Манифеста Котовского», выцарапанные в камне. Разве одно это не интересно?

Молодым легендарным разбойником заинтересовались и Багрицкий, и Светлов, и Голодный.

К тому моменту в Одессу приехал еще и критик Лелевич, но тот поселился где-то за городом. Миша Светлов, с которым я сблизился, пожалуй, больше, чем с Голодным, недолюбливал рапповскую непреклонность Лелевича; гораздо охотней он говорил о неизменном покровителе литературной молодежи — критике и редакторе Воронском. Старый революционер, подпольщик, кстати сказать, знававший и одесское революционное подполье, Воронский, несомненно, умел привлечь симпатии молодых людей и своим революционным опытом, и романтической настроенностью. Миша Светлов говорил: «Нет, он не сектант, как Лелевич». Светлов часто — и в узком кругу и с эстрады — читал стихотворение, посвященное Г. Лелевичу: «На море». С первыми набросками этого очень «светловского» стихотворения, полного юмора и иронии, Миша Светлов знакомил пас уже тогда, в Одессе:

Ночь надвинулась на прибой,
Перемешанная с водой…
Там под ветра тяжелый свист

Ждет меня молодой марксист.
Окатила его сполна Несознательная волна.
Он — ученый со всех сторон,
Поведеньем волны смущен.
И кричит, и кричит мне вслед:
— Ты погиб, молодой поэт,
Дескать, пробил последний час
Оторвавшемуся от масс!

— Что ж, — в тюрьму так в тюрьму! Хотя теперь и называется это ДОПР, — сказал Светлов, когда мы посвятили его в свой замысел посетить легендарного Сашку Жигулева. — В тюрьму так в тюрьму! Мы давно это заслужили, мы, оторвавшиеся от масс…

И вот на самом деле мы добились разрешения посетить ДОПР, не так уж было это и трудно — добивались и не того.

Помнится, когда появилась надобность, для выступления молодых революционных поэтов отвели сцену знаменитого одесского оперного театра. В самодеятельном Синтетическом театре шла пьеса Олеши — «Игра в плаху», а для постановки левого спектакля «Ничевоки» (по Евреинову) мы получили арену цирка на несколько вечеров.

Задолго до спектакля по городу расклеивались загадочные афиши, система которых была придумана Кирсановым. Сначала на первом листе афиши появилось одно только слово: «Ничего». Потом слово появилось полностью «Ничевоки» с тремя восклицательными знаками. И уже после этого — более или менее толковый текст, извещавший, что означали первые недомолвки и что это за великолепное зрелище предстоит одесситам в цирке.

Действительность превзошла все залихватские намеки. Соответственно идее спектакля на арену цирка выехал на мотоцикле и почему-то в голубых кальсонах наш идейный руководитель украинский поэт Леонид Недоля. Мотоцикл стрелял, над головой пышношевелюристого Недоли трепетал плакат: «Долой всяческую мертвечину и мещанские предрассудки!»

По всему барьеру венком сидели «юголефские девочки» в трусиках, как купальщицы. Многие из них с ужасом обнаруживали среди зрителей своих пап и мам, каким-то образом узнавших о любопытном спектакле, сокрушающем предрассудки при участии их детей.

Теперь легко понять, что отчаянным «ничевокам» не так уж

хлопотно было проникнуть в ДОПР — тем более что ДОПР — не тюрьма. И все-таки мы шли туда, должно быть, с таким же чувством, с каким иные шли на спектакль ничевоков.

И вот наша компания — перед начальником одесского ДОПРа. Он познакомился с мандатом, скосил на нас один глаз и спросил благожелательно:

— Очень хорошо, что же вас интересует?

Светлов в это время рассматривал транспарант во всю стену над нашей головой.

«Ты не в тюрьме: ДОПР не наказывает, а перевоспитывает».

— А что вы успеете сделать с нами за полчаса или час? — весело спросил он начальника ДОПРа. Тот так же весело сумел ответить:

— Покажем вам все, что вы хотите.

— А может быть, есть уже и перевоспитанные? — добавил Багрицкий. — Они у вас не в пелеринках?

На первый взгляд, тюрьма как тюрьма. Наверху огромный купол со стеклянным фонарем дневного света, вокруг вдоль железных, чугунных балконов в несколько этажей двери камер с глазком и с номером камеры. Гулко. Как ни странно, много движения: по всем этажам довольно независимо шныряли люди — кто с миской в руках, кто с ведром, наполненным щами, или с подносом с хлебным пайком, а кто и с книгой в руках. Разило вареной капустой. Мы пришли в обеденное время. Заключенные оглядывали нас задорно, а мы посматривали на них все-таки не без опаски, и, признаться, хотелось скорей обратно к солнцу, на воздух.

Вдруг Светлов спросил у начальника:

— А лилии или тюльпаны у них есть?

— Какие тюльпаны? Не понимаю.

Светлов стал серьезно объяснять, что во Франции есть такая тюрьма — «тоже вроде ДОПРа: система открытых дверей», — где арестантам удалось вывести самые лучшие сорта тюльпанов.

— Вот тюльпанов нет, — так же серьезно ответил начальник.

— Холодно, — пожаловался Багрицкий.

— Да, — заметил Миша Голодный, — хотя и республика, хорошо бы на воздух. Ведь мы хотели познакомиться с Сашкой Жигулевым. Где он?

— Кто это Сашка Жигулев? — удивился начальник ДОПРа.

Мы торопливо объяснили, ради кого, собственно, мы тут.

— Так это, должно быть, Саша Казачинский. Казачинский его фамилия, а не Жигулев. Такого у нас нет — Александра Жигулева.

Мы напомнили, что Сашка Жигулев есть у Леонида Андреева.

— А! Понял. Ну, так пойдем.

Солнце опять хлынуло нам в глаза. Щебетали птицы. Над нами синело небо и оттуда пам улыбнулось облачко. Неподалеку па зеленой травянистой лужайке молодые люди играли в футбол. Начальник оглядел футболистов и вдруг закричал:

— Лучше по левому краю! Саша, прорывайся по левому краю, мотай!.. Вот Саша Казачинский — не хуже Богемского, — обратился он к нам. — С мячом. Форвард… Бей, Саша!

— Гол! Гол! — закричали на лужайке.

— Саша! Молодец! — закричал начальник ДОПРа. — Гол! Иди, Сашка, сюда.

Форвард, только что забивший гол, уже бежал к нам, разрумянившийся. Это был мальчик лет шестнадцати с милым светлым чубчиком.

— Здравствуйте! — приветливо воскликнул он. — Видели, как обошел! Здорово, а?

— Можно было шутовать раньше, — заметил пачальник, — с левой ноги. Ты с левой бьешь?

— Бью, но хуже.

— Нет, все-таки здорово, — заметил Багрицкий, — здорово, хотя и не с левой ноги. Богемского и я помню.

— Ас какой ноги вы встаете? — спросил форварда Миша Светлов.

Саша Казачинский усмехнулся.

Начальник ДОПРа не считал нужным представлять нас Саше Казачинскому, лучшему форварду ДОПРа, будущему москвичу, писателю, автору превосходной повести «Зеленый фургон».

Почему же ДОПР и ореол романтического разбойника? Как это случилось?

— Занимался черт знает чем, вот и случилось, — смущенно отвечал он и зафутболил камешком — совсем так, как позже описал он сцену встречи Красавчика, юного, неуловимого бандита, с гоняющимся за ним агентом угрозыска.

Вот как все забавно и сложно закручивается! Красавчик — Казачинский. Разыскивающий его агент — Женя Катаев — Евгений Петров, соавтор Ильфа. Все так и было, как позже описано в повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».

— Не умеете вы писать интересно, — сказал как-то Саша Казачинский в Москве, уже в те годы, когда бывший Сашка Жигулев сотрудничал вместе с другими одесситами — Ильфом, Евгением Петровым, Юрием Олешей, Валентином Катаевым, Гехтом — в газете «Гудок». — Не умеете вы писать интересно. Вот

я возьмусь и напишу — тогда увидите!

И в самом деле, вскоре Саша Казачинский порадовал своих друзей и многих читателей увлекательной повестью…

Ну, хорошо, а что же все-таки произошло дальше в тот давний-давний день, когда мы развлекали милых московских гостей посещением ДОПРа и знакомством со знаменитым разбойником?

Мы стояли в недоумении перед смущенным симпатичным подростком. Саша начал о чем-то догадываться — и еще больше смутился. Это почувствовал и начальник ДОПРа.

— Хорошо! Хватит! Казачинский, иди за ведром, веди свою бригаду на обед.

Обращаясь к нам, начальник сказал:

— Уже подумываем о досрочной. Может, удастся. Иди, иди, Казачинский!

Мальчик смотрел большими глазами, переминаясь с ноги на ногу.

— Можно передать через них просьбу?

— А что? Передавай, — разрешил начальник.

— Пожалуйста! Конечно! — подхватили мы.

— Вы, конёчно, пойдете на волю.

— Да, пожалуй, — прикинул Светлов.

— Зайдите, пожалуйста, к моей маме. Адрес узнаете. Скажите, что вы меня видели, все хорошо. Можно?

— Можно.

Багрицкий, как это иногда с ним случалось при разговоре, насел па Казачинского плечом и, оглядывая его все с тем же любопытством, сказал:

— Саша, когда выйдешь, сразу приходи ко мне на Дальницкую, поговорим за Богемского.

Так расстались мы в тот раз с Сашкой Жигулевым на лужайке за задней стеной одесского ДОПРа, чтобы через пять-шесть лет вновь встретиться с Александром Казачинским, переселившимся в Москву вместе со своей старенькой мамой.

Такое было время.

И, как нарочно, еще одно маленькое происшествие случилось тогда же: где-то в одной из проходных комнат ДОПРа я зачем-то оставил свою шинельку и забыл про нее — день был солнечный, теплый, — вспомнил уже за воротами ДОПРа. Возвращаться по такому пустяку было не в наших правилах, и хотя про себя очень сожалел о любимой шинельке, я первый голосовал за то, чтобы не возвращаться, а немедленно, как предложил Малеев, ехать в редакцию и всей компанией «сняться на карточке».

— Идея великолепная, — согласился Светлов. — Снимемся, как футбольная команда после блестящей победы: 13:0. Чудесная прогулка, чудесный день! Мы выиграли серьезный матч! Правда, Богемского я не знал, я слабый форвард, но ничего: я спрячусь за крепкую спину Бондарина, испытанного хавбека.

— Без боевой простреленной шинели у него довольно безнадежный вид, — заметил кто-то не без лукавства.

— Шинель пойдет в Музей революции, — хмыкнул Багрицкий, — ничего, дорога через барахолку. Поехали, там купим бобровую шубу.

Шуба не шуба, а куртка на меху на мне, и Миша Светлов получил возможность спрятаться за спиной хавбека.

Долго ли, коротко ли, вот вам, собственно, и вся история о хранящемся у меня бережно фотографическом снимке с совсем юными Светловым и Голодным.

Багрицкий не любил отклоняться от пути на Дальницкую, если приближалось время обеда и дома ждали его Лидия Густавовна и Севка за сковородкой с жареной картошкой, чаем и брынзой. Но еще больше не любил он одиночества в дороге, хотя бы и короткой, вот почему нет его на снимке, так же и Игоря Малеева: Малеев поехал с ним.

Гости вскоре разъехались: Голодный поехал, если не ошибаюсь, в свой Екатеринослав-Днепропетровск. Светлов — в Херсон и Николаев в компании с Багрицким и Игорем Малеевым, сотрудником одесской «Молодой гвардии», на заработки — читать стихи. Хотелось Мише Светлову поехать по Черному морю дальше, до Новороссийка, до Батума, но, кажется, этот план не удался.

Уезжая, Светлов признался:

— Теперь я окольцованный.

И снова продекламировал несколько строф из стихотворения «На море». Помните? Записываю строфу — и слышу добрый, деликатный, чуть-чуть застенчивый и мило-картавый голос:

Море смотрит наверх, а там
По расчищенным небесам
Путешествует лунный диск
Из Одессы в Новороссийск…

Миша Светлов уехал. Воспоминания о дружбе с ним и с Мишей Голодным, о давних годах нашей молодости никогда не было безмолвным, всегда говорило мне неповторимым голосом — голосом, шумом или музыкой — все равно. Не безмолвна и эта постаревшая на сорок с лишним лет — страшно сказать! —

фотографическая карточка, главный герой этой фотографии — время.

Нет, тут я не в силах согласиться даже с Пушкиным: воспоминания не безмолвны,

Ямбы

В Москве под редакцией Владимира Маяковского второй год издавался журнал «ЛЕФ», когда у нас, в Одессе, группа молодых декларировала свою приверженность «Левому фронту искусства».

Со сцены Синтетического театра, имевшего своей целью объединение искусств для борьбы с искусством Рафаэля и Гоголя, Чайковского и Станиславского, читались декларации и стихи, эпатировалась буржуазия — словом, делалось все то, что было свойственно духу времени.

Бесспорно, самой симпатичной особенностью предприятия оставался этот союз провинциально-наивной самоуверенности с молодой самоотверженностью бескорыстных актеров-каменщиков, маляров-поэтов. Все создавалось, все возводилось своим умом, своими руками: и пьесы, и роли, и реквизит, и стены театрального помещения, и визы администрации, поглядывающей на эти затеи снисходительно.

Мои товарищи не испытывали никаких сомнений. Пылкие сверстники эпохи брали из жизни все, что давалось им в руки, брали, как свою законную часть, и кое-кто из нас впоследствии искупил и молодую заносчивость и свой решительный выбор делами дальнейших лет.

Но одно сомнение терзало меня и днем и ночью среди алюминиевого блеска софитов, зычных голосов декламаторов: мой старший товарищ Багрицкий держался в стороне от всех этих порывов, пи на шаг не отходил от него другой молодой поэт, мой сверстник Петя Болохин. Они любили Толстого и Пушкина — и остались верны своим вкусам… Я тоже любил Пушкина — и не мог разлюбить его. Я тоже слагал стихи, и часто слагал их ямбом. Я любил ямб не меньше, чем любил его Багрицкий. Хороший ямб овладевал мною и волновал, как музыка. Мне нравились его торжественность, естественность, правдивость.

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенное искусство
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений…

Ах, довольно! Этому размеру поэтической речи я верил, как самой жизни… И вот при всем том, новообращенный, я декларировал, что писать ямбом нельзя, ямб — это анахронизм,

архаизм, писать ямбом — значит предавать революцию…

Да, да, мне было нелегко! Я перестал бывать у Эдуарда на Дальницкой, избегал встреч с Петей.

А в это время по городу расклеивали яркие афиши: «Маяковский начинается… Маяковский издевается…»

Вождь ЛЕФа остановился в лучшей гостинице на Приморском бульваре.

Не один я потерял сон. Кто-то рассказывал, что ему уже удалось встретить Маяковского на лестнице гостиницы, Маяковский прошел в двух шагах.

— Большой? — спросил я.

— Большой, — ответил удачник.

— Да! Большой, — многозначительно подтвердил я.

Дело в том, что за год перед тем я сам впервые увидел Маяковского. На лестнице. В двух шагах от себя.

Это было в Москве. Редакция ЛЕФа помещалась в одной из комнат Дома печати. Я предложил редакции свое стихотворение, пришел за ответом. Мне сказали, что стихи у главного редактора Маяковского, что он должен быть с минуты на минуту, предложили подождать в вестибюле.

— Я его не знаю, — отвечал я.

— Ничего, узнаете сразу, — ободрила меня улыбкой молодая красивая дама, сидевшая за редакционным столом. — Такой… — она подбирала слова, — большой.

Я вышел в коридор и действительно через несколько минут увидел Маяковского. Сильный и быстрый, широкоплечий, с лицом упорным и напряженным, как у футболиста-вратаря, ожидающего удара по воротам, Маяковский прошел за белую ампирную дверь редакции, обдав меня ветром и запахом папиросы. Последовать за ним я не решился. Решения главного редактора я не слышал. А позже я узнал, что стихи Маяковскому понравились. Это было стихотворение о новой Москве.

Еще не раз я встречал Маяковского па улицах Москвы. По свойственной ему привычке, он широко, энергично шагал у самой панели, размахивая и постукивая о нее палкой. Иногда его жестковатые губы что-то бормотали. Слышал я Маяковского и на трибуне… Но кто же в те годы не слышал Маяковского со скамей аудитории Политехнического Музея, кто не встречал его в обновляемой Москве на многолюдной Петровке или Мясницкой?!

А теперь… теперь перед нами была возможность посетить властителя наших дум, говорить с ним — и не только как почтительным приверженцам. Нам думалось, что мы явимся перед ним в роли соучастников общего грандиозного начинания. Это право было заработано бессонными ночами — за шитьем

театральных костюмов, за окраской и штукатуркой зрительного зала, за сочинением программных статей. Другое дело, что статьи не принимались к печати, а конструктивно разделенный зрительный зал продолжал пустовать…

Особенно гордились мы конструктивно использованным осколком большого настенного зеркала, оставшегося в фойе еще со времен уличных боев девятнадцатого года. Надеялись мы щегольнуть этим осколком и перед Маяковским, пригласив его к себе.

Только один оставался в стороне от этого: Багрицкий по-прежнему отсиживался у себя на Дальницкой, среди клеток с птицами, да еще Петя Болохин, верный Лепорелло, разделял одиночество Эдуарда. А я продолжал терзаться сомнением…

Я умышленно опоздал и, когда все-таки поднялся по великолепной лестнице и постучал в двери лучшего номера «Лондонской», знал, что не буду здесь первым. Вчера было решено идти к Маяковскому. Вчера в помещении еще недавно фешенебельного ресторана-варьете при гостинице «Северной», сейчас ставшим клубом работников искусств («Рабис»), выступал Маяковский. Было то, что обещали афиши с яркими крупными буквами: «Маяковский издевается». Мы видели Маяковского на эстраде, он эпатировал: немало нэпманов пришло взглянуть на трибуна революции и послушать его: хорошо были известны его остроумие и беспощадность в любой полемике. Однако не только восхищение, но и некоторое недоумение вызывала эта манера даже у иных его поклонников. Эти новые недоумения прибавились к моим терзаниям, но не давал покоя и юношеский задор, и я твердо решил поговорить с Маяковским начистоту.

— Войдите, — деловито пробасил кто-то за дверью, и я вошел.

Маяковский стоял посреди комнаты.

Тут были уже все: художники-конструктивисты со своими эскизами, поэты, актеры и сам Григорий Майстренко, режиссер-синтетик, человек, среди нас наиболее внушительный, главный пайщик нашего артельного предприятия да, пожалуй, и самый верный его энтузиаст, снедаемый желанием поставить на синтетической сцене свою пьесу-буфф в духе Маяковского о революционной Мексике. Одесситы хорошо знали этого длинноногого верзилу. Его несуразная долговязая фигура — летом в актерской блузе с бантом, зимою — в тигровом полупальто, всегда без шапки, с лохматой головой — быстро мелькала по Дерибасовской. Многие одесские дамы знали, что жена Майстренко, немало терпящая от расточительного энтузиазма мужа и его сообщников, тихая женщина, содержит

скромный салон мод. В задней комнате салона, случалось, мы пировали… О, толстые, сочные бутерброды со сладким чаем!..

Раскинув ноги, Майстренко сидел рядом со своим лютым врагом, редактором одесской областной газеты, непримиримым противником всяческого футуризма. На этот раз редактор надеялся получить от Маяковского стих для завтрашнего номера газеты. Были и другие. Был и юный Сема Кирсанов, уже обласканный — по заслугам — вождем «Левого фронта искусства».

Кирсанов только что прочитал свои стихотворные вариации на тему актуального в то время романа Келлермана «Туннель».

Все взгляды, все позы, все ожидания собравшихся были обращены к хозяину дома. Каждый имел свою цель и все остерегались друг друга. И только один Маяковский, возвышаясь среди комнаты, всем своим видом выражал полную непринужденность.

По горячности, с какою начал свою речь размашистый Майстренко, я понял, что Гриша сейчас извлечет рукопись мексиканской пьесы. Но в этот момент опять постучались, и вошел небольшой ростом, но головастый человек, несколько сутуловатый, моложаво-румяный, толстогубый, в круглых очках. Это был уже тронутый лучом славы автор «Конармии» и «Одесских рассказов», наш земляк Исаак Эммануилович Бабель. Он весело и застенчиво огляделся. Облик Бабеля, вероятно, его проницательный умный взгляд из-за круглых очков под большим лбом, мягкий, округлый подбородок над белыми воротничками почему-то напоминал мне Грибоедова.

Маяковский встретил его особенно приветливо, сразу спросил:

— Рассказы принес?

Тихий большеголовый человек, умно улыбаясь, передал Маяковскому рукопись, сказал что-то веселое; улыбнулся и Маяковский, бегло просматривая рукопись.

Полистав страницы, Маяковский, явно довольный, ласково посмотрел на Бабеля сверху вниз и, сунув рукопись во внутренний карман пиджака, сказал:

— Знаю, о чем он (то есть Бабель) сейчас думает: не прогадал ли? Прикидывает: «Пожалуй, в «Красной нови» заплатили бы больше».

Бабель опять ответил что-то в тон этой шутке.

— Беру для ЛЕФа, — сказал Маяковский, обращаясь преимущественно к редактору областной газеты, следящему через очки за этой сценой из своего угла. — Смотрите же, — продолжал Маяковский, — Бабеля здесь не обижайте, а то больше не дам

стихов.

Ответил шуткою и редактор Макс Осипович Олыневец. Он, всегда, казалось, последовательный противник ЛЕФа, наш несокрушимый враг, с драгоценными стихами Маяковского в кармане и Бабель вскоре ушли. Стали расходиться и другие. Время приближалось к обеду. Скрылись за дверью блуза и бант Майстренко.

Обласканный Сема Кирсанов, на наших глазах два-три года тому назад сменивший мальчиковые штанишки на длинные брюки, бесспорно имел основание не торопиться с уходом, а я твердо решил пересидеть даже Кирсанова: я считал себя не только юголефовцем, но главным образом представителем одесского студенчества, от имени которого и собирался действовать. В просторной комнате остались только мы с Кирсановым. И тогда, добродушно оглядев нас, Маяковский спросил:

— Что будете есть?

Мы замялись, а в дверях уже стоял официант.

Не глядя в карточку, предложенную официантом, Маяковский распорядился:

— Принесите нам мяса.

Он спокойно сел в кресло, отдыхая, играя брелоком, спросил меня:

— Ну, покажите, какие стихи принесли вы, — и назвал меня т по фамилии.

Поразительно!

Все переместилось в моей голове.

Оказалось, Маяковский помнит мои московские стихи, те, что я оставил в редакции ЛЕФа, и даже на память прочитал из них, прислушиваясь к звукам слов, к паузе, к цезуре, к ее закономерности:

Гермоген, Иоанн, Платон —
Их ли город? Всегда ль? Везде ль?
Нет. Вот — Ленин…

— «Нет!.. Вот — Ленин», — повторил Маяковский и, кажется, согласился со стихотворцем.

При мне были новые стихи, написанные на смерть Ленина, и я показал их.

Читая эти стихи, Маяковский опять приостановился и опять, как будто одобрил:

Лоб, как дом, да и дом велик!

Вот он — Ленин — Христос по Блоку,
А по-нашему — большевик.

— Это, пожалуй, можно взять, — решил он, еще раз прочитав стих вполголоса. — Покажу товарищам. Поговорим. Вы не возражаете?

Я почувствовал, как заливаюсь краской. Сема Кирсанов живо, пе без довольства за успех товарища-студента поглядывал на меня. Мой листок скользнул туда же, во внутренний карман большого плотного пиджака, где уже лежали рассказы Бабеля и стихи Кирсанова. И тогда, не взирая на присутствие свидетеля, счастливо возбужденный, я решился. Я решился на все. И, переведя дух, по возможности спокойно, даже несколько небрежно, я спросил:

— Владимир Владимирович! Писать ямбом можно?

Маяковский сидел в кресле, нога на ногу, и курил. Линии, складки широкого в плечах, просторного пиджака легли по фигуре так, как уложила их поза спокойно сидящего человека. С той же естественной непринужденностью рисовались складки шерстяного джемпера на поджаром животе ширококостного человека.

Мой вопрос, казалось, не удивил Маяковского. Медленно выдохнув большой клуб дыма, Маяковский еще ниже склонил голову, приглядываясь, как дым, колеблясь, пошел стлаться по поверхности шерсти, по складкам костюма, неодинаковым на человеке, когда он стоит прямо или когда подвижные эти линии подчиняются другой позе.

И, не меняя ни позы, ни тона своего грубоватого баса, дополняя мысль долгим плавно-спокойным жестом, Маяковский сказал:

— Вот это… тоже ямб.

Это было все, что ответил Маяковский: дескать, хорошо то, что естественно и закономерно. Потом он встал во весь рост, в его глазах появилась свойственная им поволока, отчужденность, но, отходя к окну, Владимир Владимирович, как добрый хозяин, все же заключил:

— Ешьте мясо — остынет. Вы комсомолец?

— Нет.

— Почему?

Я промолчал.

— Это нехорошо, — внимательно оглядывая меня, сказал он. И вдруг заговорил все более сердито: — А вот вы пришли и начали с выговора: почему, дескать, я так развязно (Маяковский

подчеркнул это слово) веду себя на эстраде. Это неудовольствие ваше личное или вам поручила выразить его ваша организация?

Я оторопел, но у меня хватило догадки сказать, что это мое личное мнение (так, собственно, и было). Юголеф тут, дескать, ни при чем. Напротив, вот, например, Кирсанову хочется такой же хватки…

Кирсанов старался баском подтвердить это. Я продолжал:

— Надо завоевывать аудиторию. Вы уедете, Владимир Владимирович, и нас тут заедят: вон какой ваш Маяковский! Трудно будет проводить линию.

Маяковский смягчился:

— Что вам Маяковский. Вы будьте сами по себе. Линию проводите, — и кажется, тут не обошлось без иронии, — линию проводите, но не отвыкайте писать стихи, пишите хорошие стихи, можно и ямбом, — Владимир Владимирович улыбнулся и еще раз уже совсем ласково пригласил: — Да ешьте же… — И вдруг вспомнил: — А что это за строчки у вас в стихотворении, посвященном смерти Ленина: «Пробоину не залатать, как бастион латают турами»? Что это за слово — туры? Не знаю.

Не напрасно в юные годы я увлекался фортификацией. Я дождался, наконец, блистательного применения своих знаний, получив случай объяснить Маяковскому, что «тура» это просто-напросто старая корзина, наполненная землей, такой способ применяли еще в годы Севастопольской обороны для укрепления знаменитых бастионов.

Маяковский выслушал все это с интересом и сказал:

— Вот видите! И мы стоим против бастионов, но не пальчиками же их расщелкивать.

Он снова отвернулся к окну.

За окном был виден порт — давно прискучившая нам картина. Давно примелькавшаяся башенка маяка торчала вдали, на взморье, как стеариновая свечка в давно обжитой комнате. Уже смеркалось, и огонек маяка заморгал. Несколько военных кораблей стояло в бассейнах порта, на их мачтах тоже стали вспыхивать переговорные огоньки.

Вероятно, в прошлую ночь Маяковский написал стихотворение «Разговор на Одесском рейде», стихотворение исполненное зоркой чистоты поэтического взгляда, естественности ритма.

То один моргнет,
А то другой моргнет…

Позже я узнал, что в то время как мы беседовали с

Маяковским в его номере, Петя Болохин торопливо шарил в корзине для мусора, выставленной в коридоре этажа, он извлек оттуда скомканные листки бумаги из-под машинки. Его предприимчивость оправдалась. В его руки попало сокровище — черновики стихотворения «Разговор на Одесском рейде».

Собравшись в тот же вечер попозже на Дальницкой, мы долго и трепетно рассматривали и изучали эти листки из-под портативной машинки.

О том, что счел нужным ответить Маяковский на вопрос, мучивший молодого поэта, здесь, на Дальницкой, я не рассказал.

«Вот это тоже ямб».

Все — ямб. Но тогда, признаюсь, я не понял лаконичного замечания Маяковского, дескать, ямб разлит в природе, он в любом ритме, в любом движении, ямб — это само естество.

Нужно было прожить еще много лет, чтобы ответ Маяковского стал не только понятен сам по себе, но еще и объяснил многое дополнительно в искусстве и в жизни, объяснил бы так же и ямбы Багрицкого, и отношение к ним Маяковского, и то почтительное признание гения Владимира Маяковского Багрицким, с каким мой старший товарищ и ближайший учитель начинал с юных лет постижение поэзии.

Последняя короткая, случайная встреча с Маяковским была в Ленинграде в марте 1930 года. Об этом эпизоде мне уже приходилось рассказывать в книге «Гроздь винограда».

Мы с Юрием Олешей сидели за столиком в ресторане «Европейской гостиницы». Маяковский подошел к нам со стаканом чаю.

— Садитесь с нами, — пригласил Олеша Маяковского.

— Нет, — отвечал Владимир Владимирович, — не люблю. Я люблю дома. У себя: снять пиджак, повесить на спинку стула, натянуть домашние туфли.

И он отошел от нас…

Удивительно было вскоре увидеть Маяковского в гробу в широком в плечах плотном пиджаке и больших крепких башмаках…

И снова хочется мне повторить: «Не одному Маяковскому задолжал я, все мы в долгу друг перед другом. А Маяковский? Молодость каждого из нас перекликалась с голосом Владимира Маяковского в лесу жизни. Тогда в лесу была весна. Мы шли навстречу друг другу, искали, аукали…»

Звенья той же цепи

Златая цепь на дубе том…

А. Пушкин

В раннем детстве был у меня дружок, сверстник, сын нашего дворника — Коля.

Давняя пора, сейчас кажется она какой-то потусторонней, как бы не бывшей, но было, было это!

Однажды зимой мы с Колей катались на салазках с горки.

Вспоминаю эту заснеженную и накатанную полозьями салазок опасную крутую горку — дорогу, ведущую с края высокой крутизны к морю, замерзшему у берегов.

Детская удаль. Веселые крики.

Мотающиеся на ветру концы детских башлыков и шарфов.

Мы с Колей, как всегда, были одни, то есть без старших, как некоторые другие дети, и, разумеется, мы соревновались: каждый из нас хотел быть самым смелым и самым ловким. Один — Уточкиным в момент смертельно опасного пируэта па треке в гоночном автомобиле. Другой чувствовал себя на аэроплане, как французский летчик Негу, совершающий мертвые петли…

И вот случилось ужасное несчастье. На полном ходу Коля налетел на дерево, торчавшее на одном из крутых поворотов. Мальчик у меня на глазах был убит на месте — он ударился головой о ствол дерева…

Было это более чем полвека тому назад. И вот тогда в первый раз я испытал нечто непонятное. Думаю — одно из чувств, сочетающихся с полнотой интенсивности умственного возбуждения, состояние необозримо отделяющее человека от всего остального — дышащего и чувствующего. Это пришло сразу, на месте драмы и очень долго не оставляло меня. Не оставило и после того, как Колю похоронили. Была и боль, был и страх, было и что-то еще — сладко-печальное.

Первоначальный испуг перед катастрофой и моей ответственностью, разумеется, ответственностью моральной, нравственной, неуловимой и необъяснимой, этот испуг сменился, вернее, разросся до чувства — и это было главное — до чувства вселения в меня погибшего мальчика. Я перестал быть один, сам по себе. Долгое время где-то во мне слышался голосок. Я слышал Колины интонации, видел его улыбку, а главное — чувствовал что-то похожее на постороннюю волю, постороннюю, но необходимо дополнившую мою собственную, и это была — в моей

совести — сущность другого мальчика. И все окружающее с этих пор рассматривалось и чувствовалось двойным зрением и двойным чувством, и даже поступки выходили какие-то неожиданные, казалось бы, мне не свойственные.

Много было недоразумений — и не только с моими отцом и матерью, но и с родителями Коли. Они — простые люди — недоумевали и терялись от странных выходок Колиного дружка. Я, например, мог вдруг прийти в час обеда в дворницкую и сесть за общую миску с борщом или попросить Колину рубашку, а у себя дома часами молчаливо стоял в углу, вспоминая шаг за шагом, слово за словом все, что успел сказать или сделать Коля в нашей маленькой квартире. Не откликался на свое имя, утверждая, что меня зовут Коля.

— Разве вы не знаете, что меня зовут Коля? И я буду не таким, как хотел прежде, буду другим…

— А каким ты будешь? — почти испуганно спрашивали меня.

— Еще не знаю. Это мне скажут. Я и говорить буду по-другому.

Я искал те книжки, какие любил читать Коля (а было нам лет по семь-восемь), в дворовом садике старался доделать то, что начал там делать Коля, и мне важно было угадать и сделать именно так, как мог бы сделать Коля. Кое-что я слышал от самого Коли, и нужно было Колины мечтания довершить.

Не скажу сейчас точно, как долго это продолжалось. И еще труднее было бы пытаться проанализировать, что именно сформировалось в моем характере — а, может быть, и совершилось в моей судьбе — под влиянием этого чувства, которое не могу назвать иначе, как чувство душевной преемственности, несомненно, свойственной миру духовного общения людей. И это же — опять-таки — звук или голос все той же сказочной златой цепи: «…и днем, и ночью, кот ученый все ходит по цепи кругом». Не всегда люди это замечают.

Сложно, сложно, все это и нелегко об этом говорить.

Не легче, а может быть, еще труднее признаться мне (несомненно, это требует хорошей меры мужества и чести), что испытанное когда-то таинственное и тщательно охраняемое ребенком чувство посмертного братства я снова испытал, испытал вторично, испытал уже, собственно, на склоне лет — после смерти Юрия Карловича Олеши.

Дело в том, что мы с Олешей земляки и почти сверстники.

Из всех моих сверстников и старших товарищей — писателей, поэтов, художников, музыкантов, помогавших мне понять, в каком я родился, жил и рос мире, понять мир и оценить его,

пожалуй, больше других сделало в этом отношении творчество Юрия Олеши. Ничто, никакое другое чтение, ни театр, ни музыка не возбуждали мое воображение с такой энергией, не приводили в движение память, как чтение книг Юрия Олеши.

Почему же, однако, это происходит? Объяснение напрашивается простое и, думаю, правильное.

Все было общим и обнаруживалось почти одновременно, все чудеса, радости и потрясения, и как выяснилось, часто в одних и тех же формах: море, паруса и облака над ним, полет ласточек и полет Уточкина, гибель «Титаника» и поющая скрипка Яна

Кубелика, Цусима и Великая китайская стена, похищение из Лувра Джоконды и на зеленой лужайке футбольный матч с англичанами в полосатых спортивных костюмах, гимназия и первое впечатление от разметавшихся волос девочки. Все было общим. Об этом писали газеты и говорили за столом паши отцы. Именно это поражало воображение…

Кроме других качеств и преимуществ, Олеша, впрочем, имел передо мной еще одно преимущество — преимущество первого хода.

Солнце. Море. Птицы. Паруса. Веселые улицы южного портового города, еще сохраняющего кое-какие признаки шумного прошлого — порто-франко. Стройность архитектуры. Театр с итальянскими певцами. Тайны созревания и, наконец, оглушительное впечатление революции: жизнь, вдруг развернувшаяся во всю ширь.

Все это описывает в своих книгах Юрий Олеша. Он первым повел мяч, а я, как, вероятно, и другие наши сверстники и земляки, страдаю его страданием, восхищаюсь тем же и так же; и две души объединяются, как когда-то в детстве моя душа объединялась с душой мальчика, которого я успел полюбить.

Важно сказать еще вот что: с Олешей мы встретились гораздо раньше, чем стал он писать книги.

Расскажу и об этом.

Задолго до того, как Ильф загадочно вздохнул по поводу моей женитьбы — «Гой, ты моя Генриетточка», — о чем мною уже было рассказано в печати — я предпринимал попытки обозрения жизни.

Конечно, особенно интересно было встречать людей, с которыми перед этим долго не встречался: годы отделяли нас от нас же, от нас прежних, юных, других, еще не знававших важных определений судьбы, иногда — славы. Было это не только интересно. Ожидание такой встречи волновало, будто предстоит что-то важное для тебя — разговор о любви, о твоем близком

будущем.

Почти всегда я испытывал это перед встречей с Юрием Олешей.

…Вхожу и вижу Олешу перед большим трюмо. Он что-то громко говорит. Кому? В комнате — это был просторный номер в хорошей гостинице в Ленинграде — больше нет никого, Олеша разговаривает сам с собою…

Он назначил мне время, но стука в дверь не слыхал.

Смутившись, Олеша отпрянул от сверкающего чистотою стекла зеркала и говорит — теперь уже мне:

— Серый.

Не понимаю.

— Что это значит?

— Я постаревший, серый. Зеркало — это ужасное изобретение. Никогда не рассматривайте себя в зеркало.

И он опять подходит к трюмо, как к опасному зверю: сначала нерешительно, но постепенно все с большей тщательностью начинает себя рассматривать.

— Это — я. И будет момент, когда этого (он сделал жест в сторону зеркала) не станет, не отразит меня никакое зеркало… Ужасно! Подумать только (в топе появляется насмешливость), это — личность. Как так личность? Откуда? Какие права?

Первоначальное удивление, оторопь, даже легкий страх перед человеком, разговаривающим с зеркалом, проходит. Я улыбаюсь, и Олеша продолжает объясняться, причем в таком тоне, как будто у нас продолжается давно начатый разговор.

— Чувствую какой-то недостаток зрения… А вы вполне здоровы? Говорят, вы стали рабочим? Вы фрезеровщик?

Звучное слово — фрезеровщик — Олеше нравится. Он произнес его случайно, но теперь повторяет его, и слово пробуждает в воображении новый образ, отвлекает от тягостных опасений, только что высказанных. Он со вкусом повторяет:

— Фрезеровщик… фрезеровщик…

Но я должен разочаровать его. Как раз был период времени, когда и я по примеру многих молодых людей моего поколения, охваченный романтикой революционных строительств, думал, что для нас может быть только одна форма участия в революционно обновляемой жизни: Днепрострой! Магнитострой! Турксиб! Идти туда, только там найдешь удовлетворение и правду, а для этого забудь, что ты юрист или литератор, и становись каменщиком, литейщиком, арматурщиком. Повсеместные краткосрочные курсы строительных рабочих, железнодорожников, куда направлялись охотники с Биржи труда,

казалось, открывают эти дороги. Ступил на эту дорогу и я. Но я не был фрезеровщиком…

— Нет, — говорю я Олеше, — я не фрезеровщик, я — арматурщик.

— Это электричество?

И я объясняю ему, Олеше, которого я еще свежо помню молодым, веселым, задорным, в футбольных трусиках и бутцах в раздевалке на гимназической спортивной площадке, в Одессе в Ботаническом саду, помню его таким, хотя сейчас он и жалуется мне, что он постарел, он — серый. Я объясняю ему, что я имею дело с другой арматурой, это не электротехническая арматура, я — арматурщик-строитель и имею дело с железом для железобетона: арматурное железо — круглые тяжелые прутья разных форм и номеров — все чаще, все шире применяется в современном строительстве.

Олеша оживленно подхватывает:

— Железо! Да, железо. Материал века, — он быстро говорит. — Однако слушайте: недавно я был в Рыцарском зале Эрмитажа. Я видел там раненые доспехи, доспехи, панцири, рассеченные мечом… Вообразите! Может, это действительно те доспехи, которые рассекались на человеке. Их надевал мой предок, польский рыцарь. Панцирь ранен, значит, был поражен мой дед. Я не променяю этот зал на всю сталелитейную промышленность. Доспехи мне понятней. Я многого не понимаю… Восемнадцать миллионов крестьян станут рабочими! А запах земли, запах избы, колос на мужицкой ладони? Это ведь то же самое чувство отцовства или материнства…

А, может быть, мы помогаем выращивать новое мещанство! Смотрите: семья въезжает в новую квартиру и прежде всего хочет поставить шкаф с зеркалом. Почему это? Почему в гарнитуре вещей, окружающих нас, оставляют зеркало? Личность? Человек не должен видеть свое отражение… — И, взбивая на себе волосы, Олеша пытливо и недоверчиво опять смотрится в зеркало. Я вижу в отражении, как его глаза меряют его рост.

— Какая таинственная чушь! — невольно восклицаю я.

— Как — чушь? — возмущается Олеша. — Зеркало — это мистика или эстетизм. Много лишнего в наших произведениях, в произведениях интеллигентных людей, артистов: зеркало, домашние обои, бритва «жилет», посильный жилет наших дядюшек, папиросы, самопожертвование, героизм, любовь, театральная сцена…

Олеша выбрасывает эти слова, вернее, выдыхает их — одно за другим, как фокусник, вынимающий из обшлага один предмет за другим. Но что-то мешает ему, его сжимают какие-то невидимые

углы, и он, освобождаясь от этого стеснения, с тем большей страстью, не слыша этого, не подозревая, говорит:

— Говорят, когда поезд приближается к Парижу, люди вскакивают среди ночи, прижимаются к окнам, их чаруют далекие сияния. Камни Парижа! Рудин погиб на баррикадах Парижа! Интеллигенция восприняла революцию романтично. Интеллигенция создала романтику боев на баррикадах. Рудин погиб в Париже на баррикаде. В этом есть сила, есть! Но кто это поймет и оценит… Я пишу пьесу о лжи. Замечательная женщина, актриса, противопоставляет революции эстетизм интеллигенции. Слушайте сцену…

И таким образом я становлюсь одним из первых слушателей «Списка благодеяний». Пьеса, по словам Олеши, рассчитана па театр Мейерхольда, точнее — на Зинаиду Райх. Как классический драматург, Олеша пишет пьесу для любимой актрисы, и автора вдохновляет ее признательность. Он дружен со «стариком Мейером», как называет он Мейерхольда, больше того — оп весь под обаянием его личности.

О чем рассказывает «Список благодеяний»? Замечательная актриса получает заграничную командировку. Уехав из своей страны, она изменяет ей, своей родине, подвергающейся таинственным, ей непонятным, суровым переменам. Женщина остается за границей, становится политической эмигранткой. Однако там в еще большей степени опа начинает страдать от цинизма, мещанства, грубости, и тогда вступает тема искупления: героиня пьесы погибает на чужих камнях, на революционной баррикаде, она погибает, подобно Рудину.

Я хорошо знаю: ему очень хотелось видеть молодость мира. Но не по той ли как раз причине, что ему самому было две тысячи лет, столько же, сколько исчисляет эра нашей новой христианской культуры? Не потому ли, что он был глубоко честен, а ведь сказано: «Эстетика — это прежде всего честность». И он боялся уничтожения, такого же уничтожения, какое наступило, как я это почувствовал уже в детстве, для Коли, моего первого товарища, разбившегося насмерть во время катания со снежной горки.

Однажды в уютном, прелестном московском кафе Жургаз, сейчас забытом, я оказался в дружной компании Олеши, Ильфа и прославленного футболиста Андрея Старостина, дружившего с Олешей. Нужно заметить, что и Ильф любил спортсменов, был не прочь и сам иной раз сходить на футбол или хоккей. Он любил жизнь и все ее дары. Ему нравилась энергия, пластичность,

краски быстрой игры на льду или на зеленом поле.

В день, о котором я рассказываю, Москва была взволнована футбольным матчем с турками. Спортивные встречи с иностранцами тогда были довольно редкими, а турецкие футболисты издавна были нашими спарринг партнерами по футболу. Матч закончился. Мы выиграли. Все были приятно возбуждены победой, приятно было посидеть за столиком с плечистым героем матча, знаменитым футболистом. Со Старостина, игравшего в матче на месте центра защиты, еще не сошел задор игры, но и сейчас он был, как всегда, тщательно одет, элегантен. Олеша посматривал на Старостина восхищенно — быстрым взглядом из-под бровей.

— Что будете есть? — спросил он Старостина.

Андрей Старостин благодушно заказал яичницу на сковороде из двенадцати яиц.

Мы обомлели.

Ильф весело пошутил:

— Ну и обжора: мало ему одиннадцати турок, еще понадобилось двенадцать яиц.

— Яичница из дюжины яиц! — обстоятельно повторил Олеша и заметил — Это я могу понять. Знаете ли, — вдруг обратился он к центр-хавбеку, — ведь я тоже играл в футбол.

Наступило время удивиться Старостину. Он недоверчиво покачал головой, улыбнулся.

— Не верите? — не без горечи отозвался Олеша.

Тогда Старостин сказал:

— Охотно поверю, если вы, Юрий Карлович, перепрыгнете через стул. Вот сейчас, Валяйте! — и подставил стул для прыжка.

Олеша даже не пробовал. Прыжок не состоялся.

Грустно? Да, грустно. Конечно, грустно. А мне рассказывать об этом особенно грустно, ведь я помню время, когда маленький и шустрый гимназист Олеша забил гол в ворота противника.

Олеша играл за свою Ришельевскую гимназию в пятерке нападения, и я помню день его славы, когда в решительном матче на первенство гимназической лиги Олеша забил гол. Это был точный красивый мяч с позиции крайнего правого.

На спортивном празднике гимназистов присутствовал попечитель Одесского учебного округа, горбатый человечек в мундире гражданского генерала, в петлице ленточка, большая фуражка с красным околышем. Гимназическое начальство в пелеринах с бронзовыми цепочками, на застежках изображение львиной головы. От этой группы на ветру запах сигар, а от гимназистов и гимназисток — едва уловимый запах конфетки

«барбарис». Серебряные пуговицы гимназистов, золоченые — реалистов.

Маленький и быстрый форвард, обведя противников, точным ударом справа забил гол. Аплодисменты. Потом разъезд на дорожках, свистки городовых…

Описание футбольного матча в повести Олеши «Зависть» — едва ли не лучшее в художественной литературе. Превосходных этих страниц не было бы, если бы Олеша не знал этой игры, не знал увлечения футболом. В другой его книге, которую можно назвать романом автора с его собственною судьбой, где блеск, ясность, жизнелюбие борются с дыханием тяжелой душевной драмы (я говорю о посмертной книге Олеши «Ни дня без строчки»), Олеша вспоминает:

«Могу сказать, что я видел зарю футбола… Футбол только начинался. Считалось, что это детская забава… Мои взрослые не понимали, что это, собственно, такое — этот футбол, на который я уходил каждую субботу и каждое воскресенье. Играют в мяч… Ногами? Как это — ногами…»

Каждую субботу и каждое воскресенье Олеша уходил играть в футбол.

Он был старше меня, но описывает подробности этого удовольствия теми же словами, какими мог бы об этом говорить я. Каждое слово ложится в сетку, как футбольный мяч в неудержимом полете. Олеша играл в лучшей команде гимназической лиги рядом с лучшим форвардом России Гришей Богемским. Он рассказывает и об этом:

«Я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский в белой одежде «Стортинга», позируя Перепелицыну для фотографии перед матчем… Тогда то, что теперь называют майкой, футболкой, называли просто рубашкой, хотя это была та же майка, футболка, обтягивающая туловище, а сейчас на Богемском кажущаяся мне прямо-таки гипсовой… он на футбольном поле совершает то, что сделалось легендой… О, это было одним из самых захватывающих зрелищ моего детства, кричащего вместе со всеми в эту минуту, вскакивающего, аплодирующего…»

Должен сказать, что и появление маленького опасного форварда Олеши в составе его команды не раз заставляло подтягиваться противников.

— Сегодня играет Олеша, — говорили в раздевалке, — слышите: играет Олеша.

И футболисты другой команды прикидывали и придумывали, как обезопасить опасного форварда… А я… я торопился запять удобное место у самой штанги: если мне пока не суждено играть

против неудержимого Олеши, то я хотя бы посмотрю, как искусно, ловко, обдуманно этот форвард, заменяющий самого Богемского, выходит к воротам противника, пускает мяч шутом прямо в уголок или так же стремительно, неудержимо влетает в ворота вместе с мячом…

И вот Андрей Старостин благодушно говорит:

— Юрий Карлович, мы ждем.

И мы ждем — Ильф, я и еще несколько человек, собравшихся вокруг знаменитого футболиста Андрея Старостина.

Но Олеша, автор «Зависти», драматург, чьи пьесы ставятся в лучших театрах страны, только метнул серыми глазами, опустил их и промолчал…

Конечно, не так уж страшно, что не состоялся этот прыжок, и все-таки грустно.

Старостин не видел Олешу на футбольной площадке и не знал его в те годы, когда в Одессе мы собирались в коллективе поэтов.

Олеша писал романтические поэмы.

Мне было удивительно увидеть Олешу степенным и рассудительным в компании поэтов — я только привыкал.

Вот Олеша надменно вскидывает пышноволосую голову, лицо с юношеским загаром, острым и нежным подбородком — декламирует четко, внятно, властно, так, как позже он читал свою прозу.

Люблю слушать его поэму «Беатриче».

Олеша восхищенно относился к появившемуся в Одессе «конструктивисту» Алексею Чичерину. В его произведениях фразы, собственно, не было, не всегда были слова, скорее — звуки, была логика звуков, произносимых, как музыкальный ноток, красивым и сильным голосом. Выразительностью чтения он превосходил Багрицкого. Он превосходно читал Маяковского, Каменского. У одних он вызывал восхищение, у других — возмущение или ревность.

Короткое время просуществовал журнальчик «Облава». Его редактором была глава ЮГРОСТа поэт Владимир Нарбут, только что издавший свою «Плоть».

«Облава» — кто выбрал подобное название для литературного журнала? Для первого номера «Облавы» были заказаны стихи именно на эту тему — облава. Все с нетерпением ждали ближайшей среды. Пожалуй, это был один из первых ярких примеров социального заказа. Это было ново. Вместо строф, исполненных в ложно понятой пушкинской традиции — о розах, о каких-то бассейнах и фонтанах, прозвучали стихи на грубую тему

повседневности.

Первым читал Олеша. Он начал так:

Двадцатый век! Как низко пал ты!
Перегружен, теряя дух,
Бредешь от Жлобина до Балты
И от Борщей до Попелюх…

А заканчивались стихи такой строфой:

…Но мало ль, много ль
Не разберешь, не вспомнишь тут…
Ах, Николай Васильевич Гоголь,
Все души мертвые живут!

Это шуточное стихотворение о мешочниках и спекулянтах поправилось именно тем, что за юмором, за игривостью тона улавливалось серьезное и печальное раздумье. И это стихотворение Олеша, помнится, прочитал внятно, неторопливо, правильно скандируя. Как первый ученик.

Прочитал Олеша, прочитал Катаев, очередь дошла до Багрицкого.

Словом, недостатка в стихах не было… Из-за отсутствия керосина на «среды» и «пятницы» собирались пораньше, но стихи лились и лились, и чтение продолжалось в темноте: сыпались искры от грубых, плохих самокруток, над вершинами акаций появлялась луна, у окна темным силуэтом рисовалась широкополая шляпа Зинаиды Шишовой.

И вот теперь один только легкий звон воспоминаний: моя очередь писать.

Уже много лет, как ушел человек, знавший много такого, что знаю я — не информация, не ученость, не эрудиция, а знание другое — знание души.

«Коля умер, а я жив» — это было чувство вины перед товарищем: он умер, его больше нет, и больше нет ничего для него, больше ничего ему не служит — ни зима, ни снежная горка, ни весна, ни ученый попугай, ни старушка с бубликами и семечками, сидевшая на углу, ни мама, пи сестренка в ситцевой юбочке, ни сбитые, но еще годные ботиночки, перешедшие к Коле от меня, — ничего больше ему не нужно…

Как это плохо и страшно — «ничего не нужно»… Я никогда не одобрял людей и настроения, когда и которым ничего но нужно.

Это как раз и есть бедные люди: ничего не нужно им, по и они не нужны другим.

Коли пот, и больше его не будет. Коли нет, а я есть. И смерть мальчика безмолвно возложила на меня ответственность за свершившееся, возложила какие-то обязательства, И теперь я уже должен делать не только то, что предназначено мне, но и то, что делал бы Коля, и должен делать именно так, как делал бы он, — не иначе.

И вот, смотрите, нечто подобное я начал испытывать во второй раз, спустя полвека.

И в одном, и в другом случае, несмотря на горе, стало знакомо невероятна высокое — да простится мне это признание — сближение и слияние двух существ, тогда двух мальчиков, теперь двух взрослых людей. Тогда — это понятней: вероятно, тогда была первая радость познания дружбы… А теперь?.. Что теперь?

Обогащение человека человеком — разве это плохо? Нескромно? Ведь это и есть и смысл, и назначение искусства. Для этого и ходит ученый кот, позванивает златая цепь.

Красный карандаш Горького

В годы, о которых идет речь, все самое деятельное, живое соединялось в литературе с именем Горького. Неистощимая энергия этого человека чувствовалась в литературе всюду и ежедневно в бурное, решительное, резкое время начала 30-х годов.

В жизнь ежедневно входили новые и новые идеи, появлялись новые незнакомые вещи: мы узнали, какое значение для прогресса имеет выделка шарикоподшипников, тракторов, экскаваторов, не говоря уж о таких чудесах техники, как первый в стране блюминг или сверхмощные домны, воздвигаемые у Магнитной горы.

Издавались новые журналы, создавались новые издательства, и, куда ни глянь, во всем участвовал Горький.

Сотни и тысячи людей, литераторов, издателей, рядовых работников-печатников, пытливых детей обращались к Горькому, недавно вернувшемуся на Родину из Италии, и у этого уже немолодого, не совсем здорового человека и вместе с тем на редкость крепкого находился интерес ко всему, что касалось слова, морали, просвещения народа.

В первый раз я увидел Горького в сентябре 1932 года на собрании ударников московских заводов. На эстраде, среди президиума, появился высокий старик в тюбетейке. Серый костюм, сероватый оттенок лица, кошачья скуластость, усы. В зале зааплодировали, люди встали, аплодисменты перешли в овацию. Послышался бас Горького, с добродушной досадой он приговаривал:

— Зачем это, ну, зачем, довольно…

Когда, наконец, зал утих, старик, окая, глуховато заговорил:

— В аудитории я говорю плохо, позвольте мне прочитать вам то, что мною записано…

Читая с листа, он, однако, все чаще перемежает чтение со свободной речью, поясняя и истолковывая свои мысли. Он говорит о благородстве труда. Он говорит о том, что привилегированные классы недобросовестно присвоили себе звание благородных людей. Истинный смысл этого русского слова извращен. Благо — это труд; все, что произведено трудом, — вот что есть истинное благо. И, следовательно, благородные люди — это те люди, которые рождены для труда и производят благо.

Радостно было волнение при виде человека, который всю свою жизнь в самых разнообразных формах, не упуская ни одного повода, никогда не забывал о благородстве разумного труда.

При чтении Горький надевает очки, неторопливо заправляя за уши тонкие металлические дужки, низко склоняется над листом бумаги. Свою мысль он то и дело поясняет жестом. Иногда откровенно рассматривает окружающих и при этом удовлетворенно играет пальцами по столу. Курит он много — короткими затяжками. Папиросу достает из коробка, неторопливо вставляет в мундштук, зажимает мундштук в кулаке, по-рабочему, по-солдатски прикрывая огонек папироски.

Вот он умолк и, снова отложив бумагу, по-стариковски поправляет дужки очков, вот он снова повел глазами по лицам в аудитории, удовлетворенно постукивая пальцами по столу. Один ус перекосился — усмешка ласкова, весела.

Таким я видел Горького в первый раз.

Снятая с седой головы тюбетейка весь вечер лежала на видном месте посреди стола. Но покуда он говорил с нами, тюбетейку засыпало множество записочек.

Так было везде и всегда. Записки, письма, книги, журналы, а главное рукописи шли к Горькому пудами.

Беспрерывно действовали силы этого необыкновенного человека, те же его страсти, те же интересы, которые в молодые годы побудили Горького, например, пригласить к себе в Нижний, где он жил под надзором полиции, всю труппу Художественного театра, приступившую к постановке «На дне».

Трудно писать о нем. Неисчислимы воспоминания людей, так или иначе приобщившихся к деятельности этого человека…

Но нельзя мне не рассказать о событии — из тех, о которых принято говорить: оно памятно на всю жизнь.

До сих пор для меня остается загадкой, каким образом Алексей Максимович узнал о молодом журналисте, но тогда же Виктор Борисович Шкловский сказал мне, что он рекомендовал включить меня в группу литераторов, отправляющихся на Магнитострой. Должно быть, Горький познакомился с моими газетными очерками, которые печатались в «Красной звезде» и «Вечерней Москве». Так или иначе я оказался среди интересных людей в интереснейшей поездке.

Писатель Виктор Шкловский, один из участников и редакторов будущей книги о Магнитострое, знакомился с другими будущими авторами. Ему понравилась моя работа, которую я ему показал. Признаться, я не ожидал последствий, к каким привело это наше первое знакомство. По возвращении с Магнитки Шкловский выступил в «Литературной газете» с открытым письмом, обращенным к моему другу и земляку писателю Льву Славину: почему-де так происходит, что до сих

пор не обнародованы вещи молодого литератора, заслуживающие внимания? Кто и что этому мешает? На этой же газетной полосе Лев Славин давал свой ответ; кроме того, редакция отвела место для публикации отрывков из моих работ. Это случилось осенью тридцать четвертого года.

Все это нужно сказать потому, что суть моей реминесцепции заключается в рассказе о том, что произошло дальше.

Между «Литературной газетой» и газетой «За индустриализацию» неожиданно завязалась полемика: справедливо ли выступление Шкловского и Славина? Их оппонент сомневался, возможен ли в наших условиях такой недосмотр, такое невнимание к способному литератору? Не клевещут ли Шкловский и Славин на советскую литературную общественность?

Покуда идет эта перепалка, меня вдруг приглашает к себе директор Государственного издательства художественной литературы Н. Н. Накоряков. Не без смущения я иду туда. Что же оказывается? Получено письмо от Горького с просьбой обратить внимание на случай, послуживший поводом для выступления двух писателей. Больше того, Горький просит прислать ему мои рукописи и предлагает Накорякову тоже ознакомиться с ними, выяснить их пригодность для публикации.

Все это произвело такое впечатление на молодого литератора, что я — не стесняюсь признаться — для того, чтобы несколько сбавить остроту волнения, стал ежедневно до завтрака ходить в парк культуры и отдыха, тогда еще не носивший имени Горького, прыгать с парашютной вышки.

Со дня появления писем в «Литературной газете» прошло, вероятно, не больше двух недель — и вот мои рукописи отправлены Горькому. В издательстве, не теряя времени, приступили к редакционной работе над моими произведениями. Главный редактор сектора художественной литературы, прекрасный товарищ, критик Иван Беспалов отнесся к материалу одобрительно. Он даже устроил литературный вечер, в котором, кроме меня, приняли участие Шкловский и Лев Славин, критики Чарный, Грудская, Рубановский, поэтесса Адалис, писатели Ильф, Буданцев, Виктор Кин, Эгарт, Рахтанов, Толя Луначарский, сын Анатолия Васильевича Луначарского. На вечере было много моих друзей. И в этот же счастливо-памятный вечер Иван Беспалов огласил только что полученное на мое имя письмо Горького. Алексей Максимович писал:

«Разнообразный, интересный материал, которым Вы

обладаете, требует гораздо более серьезной и тщательной работы, чем та, которую Вы ему уделили, «Монгольское детство» Вы написали короткой, «рваной» фразой — «под Шкловского», а эта фраза всегда ведет к многословию, нарушает последовательность и связи, растрепывает, дробит материал.

Первая строка «Монгольского детства» говорит о теле брата — для вящей точности следовало бы сказать не — тело, а труп — далее рассказано, как собаки разорвали труп, еще дальше говорится «похоронен», и, наконец, сказано: «умер». Работа собак изображена плохо, не картинно. Дындып не мог отнестись к ней так равнодушно, как это дано Вами; биологически невозможно, чтоб мальчик, видя, как собаки пожирают мальчика, да еще брата, не подумал бы чего-то. Дындып должен был вспомнить о работе собак, когда отец ел баранину.

Этот рассказ — лучшее из всего, написанного Вами, но все-таки я бы — на Вашем месте — переписал эту вещь, придал ей более стройное и спокойное течение, придал тон эпически простой. Сухо, нечетко, малокрасочно написано богослужение лам, не показана театральность праздника, не изображены уродливые маски и не чувствуется дисгармоничность музыки. Все это нужно написать и Вы можете написать.

Хорошо начата «Повесть для сына», но вскоре Вы утратили скрытый печальный юмор начала и часто, на протяжении повести, впадаете в философский тон.

«Выводы», образец коих отмечен мною на странице 44, должны исходить из фактов, от фактов, а не от автора. Философствуют факты. Эта «повесть» тоже неплоха по материалу, но тоже заслуживает дальнейшей работы.

В письме очень трудно сказать все, что хочется, да и времени нет писать. Но мне хотелось бы лично повидаться и побеседовать с Вами. Когда буду в Москве — позвоните, встретимся.

Всего доброго».

Что сказать? Одно лишь признание: «времени нет писать» не могло не вызвать и смущения и чувства благодарности к автору письма. Времени нет писать! А вот ведь все-таки написал, значит, не считал время потерянным зря… «Все это нужно написать и — Вы можете написать». Этих слов я не мог забыть и во сне.

Признание за молодым литератором прав на литературный труд — это признание в моих глазах было, конечно, главным во Всем письме. Но письмо заставило и задуматься. Отношение Горького к «короткой, рваной фразе» в стиле Шкловского, разумеется, не может быть принято как аксиома, литературная величина Виктора Шкловского говорит об этом сама за себя, но это замечание несомненно интересно и важно для понимания взглядов Горького. Интересно и другое замечание: «Философствуют факты… Выводы… должны исходить из фактов». О чем тут речь? Одна из глав моей повести заканчивается так: «Если я столкнулся с нею, этой грубой силой, сейчас, то эта сила, лишенная стыда и снисходительности, еще не раз напомнит о себе. Нужно одно из двух: либо оправдывать ее, либо найти оружие для борьбы с нею».

Замечание Горького, вообще правильное в объяснении свойств художественного языка, в эˆом случае мне не показалось убедительным. Иногда, думается мне, простительна и прямая дидактика. Очевидно, Горький хотел своим указанием лишний раз внушить молодому автору необходимость внимания к законам художественного мышления.

Человек всегда, смолоду и до зрелых лет, мечтает о старшем друге, учителе.

Трудовое, идейное, профессиональное общение с Горьким принесло великую пользу каждому, кто искал этого. Не все оценки Горького оправдались, так же, как не были доведены до конца иные его издательские начинания, — бурная наша жизнь многое крушила, отодвигала, заставляла делать по-другому. Не все осуществлялось из того, что задумывал Горький, но уже одно то, что всех, кто попадал в сферу его деятельности, он заставлял думать вместе с собою, думать глубже, шире, интересней, социальней — уже это одно становилось чудесной и нередко высшей школой. Школа эта в каждом отдельном случае блистала приметами неутомимого горьковского руководства. То образцами собственных сочинений, то правкой чужих рукописей он конкретно и открыто, профессионально и сердечно показывал, как нужно писать, как следовать заветам высокого искусства.

Учил он и меня.

В вечер моего чтения в Гослитиздате Виктор Шкловский со свойственной ему (нередко ошеломляюще эксцентричной) образностью сказал:

— По мнению науки, каждый человек может пройти по канату. Но не каждый это знает, а иные и знают, но не решаются проверить. Нужно верить в себя, а писателю это особенно нужно.

Бондарин только что шепнул мне на ухо, что после письма Алексея Максимовича он начинает верить, что он станет писателем.

Да, это было так. Шкловский сказал правду. И это было главное во всем происшествии.

Снова прошло не больше недели-двух — в Гослитиздат вернулась рукопись моей предполагаемой книги с горьковской редакторской правкой.

Многим знаком этот красно-синий карандаш, эти точные, короткие замечания, всегда корректные. Нечего говорить, сколько вкуса, опыта, понимания дела таилось в каждом слове, отчетливо выписанном на полях крупным горьковским почерком, сколько трудолюбия, усердия н любви замечалось в тщательной правке отдельных слов чужой рукописи, даже в правке орфографических ошибок. И ни одного столь частых в нашей редакторской практике бесцеремонных и обидных для автора восклицательных знаков и многозначительных междометий!

Рукопись объемом листов десять-двенадцать была прочитана Горьким от первой строки до последней. Красным карандашом он имел обыкновение делать правку в тексте или замечания решительные, бесповоротные, синим — замечания, насколько я присмотрелся, вопросительные. Вот эта рукопись опять передо мною. Опять я переживаю чувство стыда, когда вижу, что качество печати в рукописи не на высоте. Ведь это не могло не затруднять работу редактора. А глаза у Горького были к этому времени уже пе совсем здоровыми. И все-таки это пе оттолкнуло его.

Как уже видно из письма, Горький выделил из рукописного сборника две вещи: «Повесть для моего сына» и «Монгольское детство».

На титульном листке повести «Монгольское детство» он написал: «Это — сократив — послать Маршаку; на мой взгляд — весьма ценная вещь. Требует иллюстраций, но не самодельных, а снимков с лам, актеров, хурунов и т. д.» Ниже синим карандашом добавлено: «Нужно дать переводы монгол, слов на русский».

На обложке другого раздела рукописи — «Площадь круга»— я с понятным чувством удовольствия прочитал: «Автор может писать очень просто, толково, интересно. Эти рассказы для «30 дней», «Огонька» и газет». На третьем разделе — короткое указание: «В "Знамя"».

Все было обдумано. Все было решено ясно, пристрастно, толково… И до сих пор, каждый раз, когда у меня в руках эта правка, я не могу не вникать в обширный смысл горьковских советов, указаний, заключений. Все оживлено воспоминаниями. И любопытно, и поучительно опять и опять видеть, как отчетливо и

изящно выписывается здесь каждая буква. Но вдруг карандаш редактора притупился, и дальше Горький правит карандашом, заново отточенным или запасным. Я вспоминаю, как вместе с редактором я и сам заново читал страницу за страницей. Вот на полях новое замечание: «Многовато лишних слов». Следовательно, подумай, как еще можно сократить!..

Уже случалось в те годы в моей жизни кое-что и волнительно-радостное и тревожное, но чувство, с каким я смотрел тогда на следы работы Максима Горького, было новое: со странной тревогой я переходил от одного замечания к другому.

У меня написано: «Мама садилась, раскрыв веер, усыпанный чешуйчатым бисером». Подчеркнув слово «чешуйчатым», Горький замечает: «Нет такого бисера». Нескладную фразу: «Из более ранних впечатлений сохранилось следующее» — он исправляет: «Из впечатлений более ранних помню». У меня написано: «Настя несколько раз ставила самовар». Горький исправляет: «Подогревала». Фраза: «…нас переносили в свежие постели, встречающие нас полотняным холодком» — упрощается: «Переносили в свежие постели, в полотняный холодок». У меня написано: «Он держал похрустывающую свечечку». Горький над словом «похрустывающую» ставит вопросительный знак сипим карандашом — и, вникая в его вопрос, я понимаю, что выражение не совсем точно: «похрустывает» не мягкая восковая свечечка, а горящий фитилек. Возможно, это как раз тот случай, когда не обязательна педантичная точность, но опять-таки — и суть в этом — указание учит одному из важнейших правил: присматривайся к каждому написанному слову, это очень важно. Написано: «Над очагом задымленная цепь». Горький предлагает «закопченная». К слову «баклава» (род специфических восточных сладостей) он требует пояснительной сноски.

Однажды у меня был такой случай. Редактор, правивший мой рассказ, не мог понять в нем одного логического хода. В рассказе передается впечатление, охватившее людей при виде внезапно открывшихся на их пути вершин Эльбруса. В тексте сказано: «Обе его вершины выступили из-за горы, на которую мы взбирались. Предчувствие радости не обмануло нас. Охваченные волнением, мы в молчании остановились; постукивал только мотор автомобиля».

Мне эти фразы представлялись последовательными и выражающими то, что я хотел выразить, и я старался, насколько это возможно, растолковать их редактору. Допускаю, что со мной можно было все-таки не согласиться, но вот что я услышал:

— Может быть, и так! — возразил мне редактор. — Но тогда

здесь нужно вставить эмоцию.

Я опешил. Как это так — «вставить эмоцию»?

Всякий интерес к работе с этим редактором пропал — так же, как и доверие к его компетентности. А нужно сказать, что происходило это в одном из крупнейших московских журналов.

Издавна авторам известно чувство сопротивления редакторскому карандашу. Конечно, бывает и так, что жажда увидеть свое произведение напечатанным сильнее благоразумия и таланта, но, думается мне, как правило, средний редактор знает меньше, чем средний писатель, чувствует и работает более робко.

Сенковский, известный во времена Пушкина редактор, не раз говорил, что всякое произведение надобно «выглаживать и выглаживать». Иначе смотрел на дело Пушкин, редактор «Современника». Он избегал дотошного, придирчивого вмешательства в работу своих авторов. Так понимая свою роль редактора крупнейшего и новаторского журнала, он сумел, однако, вдохновить Гоголя на «Ревизора» и «Мертвые души».

У нас есть кого вспомнить на этом поприще: отличным редактором был Герцен. А Некрасов! А Салтыков-Щедрин! Короленко!

На наших глазах Горький продолжил классическую линию редакторов русской литературы. Горький был редактором Пришвина, Тренева, первым наставником Бабеля, Всеволода Иванова. Он видел больше и шире, чем только то, что написано на страницах. Он видел лес, а не только деревья. Мне кажется, это и нужно назвать методом, которого придерживался Горький. Взгляд был усвоен им от его лучших учителей. Видеть лес, а не только деревья — по моим наблюдениям, это качество свойственно всем редакторам с истинным чувством искусства, как правило, редакторам-писателям. Этому нужно учиться у Горького. Культура, знание жизни, ясное понимание целей — три свойства проступают во всех словах и делах необыкновенного редактора. Но, конечно же, это еще и любовь и талант! И это главное. Лучше не браться за труд редактора тому, кому это непонятно. Нет. Горький не требовал «вставить эмоцию»… Согласитесь, ведь подобное требование — анекдот! Но как ни печально, все еще нет недостатка в подобных анекдотах.

Разумеется, немногие из нас могут выдержать сопоставление с Горьким, но каждый должен думать о том доверии, какое он внушил к своему карандашу. Каждому из нас — и редактору, и писателю — нужны и опыт, и трудолюбие, но прежде всего готовность отдать судьбу делу литературы, любить ее. Поверьте, о каждом примере любовной, умной редактуры среди литераторов говорят с благодарностью. Судьбы книг не должны уподобляться

судьбам детей, страдающих от чрезмерной опеки, их формирование и жизнь должны быть здоровыми. Давно известно: искусство, как сад, выращивается любовью к нему, полезно покровительствовать ему, но не нужно деспотически опекать — искусство думает и совестится само за себя.

Теперь мы так и говорим: «горьковские запятые», имея в виду запятые, которые не забывал он ставить в наших рукописях. Но главное в том-то и состояло, что, не пропуская мелочи, он заботился о крупном: о жизненности, о здоровье, о будущности писателя и его творения, он слышал весь шумящий лес и учил слышать это нас.

Он не требовал выдать на-гора эмоцию для соединения плохо, на его взгляд, соединенных частей. Обнаружив какую-нибудь погрешность, хотя бы и композиционную, никогда не прибегал к саркастическим междометиям и восклицаниям, а просто и ясно отмечал: «Нельзя располагать материал так бессвязно». Это встречал я и в своей рукописи.

Горький обязательно помнил — и требовал того же от автора, — на какого читателя рассчитан материал, в какой журнал предназначается? И если находил, что рассказ, очерк, повесть, может быть, и хороши, но написаны в такой форме, что не будут поняты неподготовленным читателем, предлагал автору исправить его упущение.

В одном моем рассказе, предназначавшемся для «Колхозника», было такое место:

«— Но где же твой муж? — спросил Гульбашев.

— Алай! Да я его и не вижу, — сердито проговорила женщина.

— Ну, этого не скажешь, — возразил он, смягчившись.

Опять все рассмеялись. Рассмеялась и Салихат, смущенная этим намеком, и в замешательстве стала собирать своих девочек…»

Руководимый заботою о малоподготовленном читателе, Горький пишет на полях рукописи: «Намек не ясен читателю, он может не догадаться, что Гульбашев смотрит на детей».

Так же внимательно Горький следил за точностью сообщаемых фактов. «Ветер от быстрого хода поезда, — написано у меня, — отдувал по сторонам травы, которые в то время были еще такими же, как при Гоголе, — выше коня и всадника». Описание это относится по времени к концу прошлого века. Горький по своим собственным наблюдениям знал, как выглядела в ту пору украинская степь, и он указывает автору: «Неверно». В короткой этой реплике чувствуется даже понятное раздражение. Но опять-таки я не увидел здесь ни редакторского «ого-го!», ни

проставленных в ряд двух, трех, а то и четырех восклицательных знаков…

Горький любил литературу так сильно, как только может любить свое дело человек необыкновенных сил и чувств. В этом была его правда.

Этого человека всегда воодушевляла и укрепляла вера в то, что его труд, соединенный с трудом других людей, рождает благо, облегчает появление вещей, смелых, талантливых, достойных идей социальной революции, достойных строгого, высокого вкуса. Это всегда слышалось мне в его трудах, в его призывах, всегда я видел Горького таким, каким увидел его в первый раз в Москве, на собрании ударников начала 30-х годов.

Он всегда был молод и мало когда нуждался в чужой помощи, чтобы находить истину. Постоянный реформатор и бунтарь, он видел существо предмета, и в оценках смело верил себе, ни на минуту не страшась ответственности. Беспрерывный труд был так же необходим ему, как дыхание. Дышать и трудиться — это было для него одно и то же. И как радостно и благодарно помнить: а ведь и над твоей рукописью дышал этот необыкновенный человек.

Илья Ильф

Фантазия. «Эта способность чрезвычайно ценна. Напрасно думают, что она нужна только поэтам… Даже математике опа нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчисления невозможно было бы без фантазии. Фантазия — есть качество величайшей ценности…»

Об этом мы рассуждаем с Ильфом: что же это такое — фантазия? Пирамида или Снегурочка? Века или мгновения? В чем тайна связи фантазии с жизнью?

Иля сказал:

— Мне больше нравится Снегурочка, — и улыбнулся своей медленной улыбкой, глядя в упор через пенсне. — Впрочем, я думаю, что фантазия — это нечто вроде витамина С, необходимое и дополнительное питание.

У нас в Москве приняты программы радиопередач «С добрым утром». Слушая эту передачу, как раз и вспомнил я Ильфа, каким он был в то утро, о котором рассказывает мой дневник.

Ильф часто говорил о том, как важно человеку весело проснуться, бодро начинать день. Однажды он сказал убежденно, даже немножко сердито, что было ему свойственно:

— Почему не желают спозаранку доброго утра? Почему не поздравляют по радио с днем рождения? Я бы непременно ввел это.

Пристально внимательный, добрый, Ильф любил все то, что может украсить и облегчить яшзнь, ненавидел ее уродства и нелепости, а особенно недолюбливал тех людей, которые по своей глупости способны потворствовать проходимцам и жуликам. Подумайте, в сущности говоря, это и составляет пафос сатиры «12 стульев» и «Золотого теленка». Впрочем, это широко известно.

Не каждый знает, что Ильф время от времени любил совершать, как он сам говорил, обозрение жизни. Он вдруг собирался, откладывая все дела, и начинал ходить по знакомым — и не просто «пить чай», а именно с тем, чтобы «обозревать картины жизни», видеть, как поживают его друзья и знакомые: благополучно ли у них дома, на душе, в мыслях? И в такие дни он обычно только и говорил, что об этих впечатлениях:

«А знаете, у Жени Окса новая кошка. Котенок. Он не только зажигает спички — подпрыгивает и лапкой включает электричество. Окс уверяет, что кошка уже пишет натюрморты. Положит перед собою только что задавленного мышонка и идет к

мольберту…

— Уже обдумывает композицию, — усмехнется Марья Николаевна, тоже художница.

— Еще бы! Ей ведь кистей не надо — лапка. Главное, у них все хорошо…

— У кого, у кошки и мышки?

Ильф улыбнется губами, и сейчас же блеснут глаза.

— Не у кошки и мышки, а у Оксов. Их девочка, подумайте, уже сама пьет молоко. Достают.

В начале тридцатых годов не каждый день для детей было молоко. Ильф тому и радовался, что у ребенка есть молоко, он продолжал:

— И молоко есть, и Женя гордится и перестал считать себя кубистом.

Евгений Оке — художник, добрый, тихий, прекраснодушный человек — ив самом деле одно время увлекался кубизмом, что не мешало ему собирать кошек еще в ту пору, когда мы все жили в Одессе.

Из Одессы уехали не все сразу, и Ильф, который уехал одним из первых, как раз в то время писал в письмах:

«…Я уже год здесь. Я уже больше не ошеломленный провинциал, у меня к Москве тесная и теплая любовь. Я очень рад Вашему приезду, самоотверженно рад за Вас и эгоистически рад за себя. За себя, потому что Вы, Генриетта, из милого девичьего гнезда на Преображенской и все такое…

(В Одессе на Преображенской улице находился так называемый «коллектив художников» — самодеятельная студия молодых энтузиастов. Г. Адлер и М. Тарасенко были участницами этого коллектива, где часто стали бывать Ильф, Славин, Багрицкий, Гехт и другие молодые поэты и писатели.)

Ну, вот и все. Приезжайте скоро. Я с удовольствием думаю, как мы будем ходить друг к другу. Интересно прийти и посмотреть, что случилось у людей за это время. Пока будьте веселы. Это легко сделать в Одессе перед отъездом в Москву. Передайте от меня что-нибудь Тоне. Только не «поклон» и не «привет». Это фальшивые слова…»

«Дорогая Генриетта… Я уезжал в Петроград. У меня не было марки. Теперь я приехал. Я прочел свой ответ. Он был написан серьезно, и мне стало смешно. Я порвал свое письмо и выбросил его. Вот все причины моего невежливого молчания.

…Гехт, совершенно печальный, ест свою яичницу. От горя он стал обжорой. Он потолстел от горя… Он получит заворот кишок,

умрет, и его будет хоронить Зозуля.

(Гехт в это время начал работать в «Огоньке».)

Это похороны третьего ранга. Ему все сочувствуют, и он ест среди соболезнующих вздохов…

Здесь уже зима и в Петрограде тоже зима. Со всей сбруей, с издыхающими закатами и великим безмолвием. Маруся смеется надо мной и говорит, что я самый некрасивый… Я даже не пытался защищаться. В печке догорает Помпея и окно черное. Петроград огромеп и пуст, как зрительный зал посреди дня. Но снег, летящий наискось, делает его милым и приятным… Но я теперь в Москве, и мне не стоит вспоминать Петроград. Иначе я задохнусь, и мое сердце расколется. Опять я грустен, как лошадь, по ошибке съевшая грамм кокаину. Я заскучал в четверг, а приехал я из Петрограда тоже в четверг. К этому почти ничего нельзя добавить.

Меня слегка развлекают толстые папиросы и толстый Гехт. Но Гехт бредит письмом и Бабелем. Письма все нет, а Бабеля слишком много. Вчера была снежная буря. Приезжайте. Зимой здесь нет ветра. Приезжайте. Здесь поставили плохой памятник Тимирязеву. Вы его увидите, приезжайте. Жмите папу, что есть сил. Если захотите, напишите мне. Если не захотите, напишите, что не хотите. Приезжайте. Как хорошо будет прийти посмотреть, как вы живете, как устроились…»

И вот и в самом деле, наступило время, когда мы могли ходить друг к другу — обозревать жизнь. Это было приятно. Но случалось, что-нибудь во время этих обзоров могло Ильфа серьезно озаботить.

Престарелый седоусый отец Генриетты, папа, которого нужно было «жать», чтобы он согласился на переезд, серьезно заболел — и мы услышали: «У старого Савелия усы упали. Нехорошо!» Новые платья у подруг жены, новая печь в квартире знакомого стекольщика — все интересовало Ильфа. О чем сейчас думают знакомые писатели, что рисуют художники? Сосед по дому па Саймоновском проезде и товарищ Ильфа и Петрова по «Чудаку» писатель Борис Левин закончил роман «Юноша». Помню, как горячо в компании с другим своим приятелем, журналистом Борисом Перелешиным Ильф обсуждал новый роман. Телефона в его квартире на Саймоновском проезде не было, Ильф не ленился прийти к нам, на Крымскую площадь, чтобы позвонить по телефону и рассказать о новом романе тому, кто еще не был знаком с произведением. Ильф очень любил разговаривать по телефону. Его привлекала не только возможность говорить по

делу на расстоянии. Это просто доставляло ему удовольствие, развлекало его, как игра.

— Подумайте, — говаривал он при этом, — могу стоять и чесать пятку и разговаривать в это время с каким-нибудь ответственным лицом… Все могу. И все это придумал человек.

Но, пожалуй, больше всего любил он слушать радио и смотреть кинокартины.

Было время, когда Москва быстро наращивала на крышах своих домов радиоантенны. Это заметно меняло облик иных улиц, говорило о переменах в. жизни людей, и это Ильф радостно подмечал. Случалось, во время наших прогулок по улицам Москвы он, закинув голову и всматриваясь во что-то, скажет:

— А еще на прошлой неделе той антенны не было! Вон на том доме, — кивнет он головой. — Подумайте, теперь люди сядут на тахту и будут слушать Пирогова или Барсову. Как приятно за этих людей!.. Нет, нет, я обязательно придумаю что-нибудь, непременно придумаю, чтобы по радио поздравляли людей с юбилеем или рождением внука. Вы не согласны?

— Нет, почему же, это было бы неплохо.

В умных и чуть-чуть раскосых глазах Ильфа под стеклышками пенсне зажигался огонек всякий раз, когда случалось ему пересказать интересную радиопередачу.

Возвращаясь из путешествия по Европе, а позже по Америке, он воодушевленно рассказывал о больших успехах радиофикации, хотел то же самое увидеть у нас, и если узнавал, что у кого-нибудь из друзей появился радиоприемник новой марки, он торопился навестить счастливца. На весь вечер располагался у аппарата, ласково, с большой осторожностью осваивая его особенности. Он говорил:

— Не спугнуть бы.

— Это кого же? — спрашивали мы.

— Добрых духов.

Еще бы, конечно, не хотелось пугать добрых духов. Ильф хорошо знал, что доброта часто начинается тут же, поблизости, рядом с нами, за стеной у соседей, за порогом вашего дома, во дворе, с пустяков, с житейских мелочей. Вот она взращивает на дворе деревья и цветы, вот лечит больную лапку бродячей собаки, и всегда она смело смотрит в глаза, потому что доброта хочет служить правде.

Встреча с добром всегда радует, потому что это всегда встреча с хорошим человеком. Радовался этому и Ильф.

И как выводило его из себя всякое столкновение с глупостью, ленью, неопрятностью — будь то не на месте грязная тряпка пли неопрятность нравственная, духовная.

— Губит дело, может быть, людей, говорит такое, что уши вянут и холодеет кровь, и при этом смотрит ясными глазами, — отозвался Ильф об одном знакомом «деятеле» после очередного «обозрения жизни», говорил как бы даже с недоумением, как бы не веря, что может такое происходить, и вдруг вскипел — На эшафот! Под гильотину! В дебри!

Не нужно думать, что Ильф был записным балагуром, весельчаком, старался смешить — ничуть не так. Но он всегда легко отзывался на шутку, веселую выдумку, игру. Так, например, в те давние милые годы, когда еще не были написаны «12 стульев», в Одессе, мы частенько играли в «потерпевших кораблекрушение». Высаживались на необитаемый остров, осматривались, и тут выяснялось, кто чем дышит, кто что успел захватить с корабля. Ильф горделиво заявлял, что он выплыл на берег с полным собранием сочинений Диккенса. А позже, когда «12 стульев» были уже написаны, он игриво признавался, что некоторые главы «срисовал» с «Пиквикского клуба».

Кинематограф Ильф любил не меньше, чем книгу, радио или разговоры по телефону, — за то, что экран сообщал много такого, что не всегда могла рассказать книга.

Сейчас мало кто, разве только историки кино, помнят знаменитый в давние дореволюционные годы «Патэ-журнал». Ильф очень любил эти хроникальные или, как тогда говорили, видовые картины. Нередко мы вспоминали их в наших играх. Однажды, помнится, Ильф предложил разыграть сцену — приезд французского президента Пуанкаре в Петербург.

Важно то, что с ласковой улыбкой, с шуткой Ильф всегда умел внушить серьезное отношение к жизни, к литературе.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов киноискусство вступило в новую эру. Появлялись превосходные фильмы, новые талантливые актеры. Ильф особенно восхищался картиной «Трус». Жил-был человек хрупкий, слабый, с нежной робкой душой. Каждый, кому не лень, пользовался его беззащитностью. Естественно, полагали, что он трусоват, и это, как водится, еще больше подзадоривало охотников посмеяться над ним. И вдруг после ряда унижений на глазах у недавних насмешников этот трус одолевает целую компанию наглых негодяев: нравственная сила побеждает. В картине все было выражено тонко, убедительно, прекрасно. Неподражаемо сыграл роль труса Кюллен Лендиз. Он заимствует словечко гангстеров XIX века, и теперь уже одно его повеление: «Садитесь» — становится магическим. Все вокруг покорны недавнему «трусу».

Поблизости в парке культуры и отдыха была разбита

огромная палатка цирка Шапито. Мы с Ильфом нередко ходили туда днем и смотрели на цирковой арене репетицию людей и зверей. Выступала маленькая труппа слонов. У меня сохранился любопытный снимок, сделанный Ильфом. Ильф подошел к дрессированному слону, тот встал на задние ноги, Ильф опешил, но, овладев собою, вскинул «лейку» и щелкнул — раз, другой. Теперь опешил слоненок. Ильф облегченно сказал:

— Садитесь!

С этих пор словечко то и дело нами обыгрывалось.

Однажды Ильф сказал:

— Согласен временно слыть трусом, но хотел бы тросточкой или одним словом на самом деле укрощать злодеев. Приятно владеть такой силой.

— А вы владеете ею, — заметил кто-то.

— О чем вы говорите?

— Ваша сила на кончике пера, и надо писать, писать, как можно усердней.

— Да, да, — согласился Ильф, — писатель должен писать. В этом его сила.

Так родился афоризм, которому и Ильф и Петров были верны всегда.

— Я хотел бы написать такую книгу, — говорил еще Ильф, — чтобы каждому хотелось прочитать из нее хотя бы одну страничку — и именно с утра, чтобы это было как бы утреннее приветствие…

И мне кажется, что такая книга написана.

Говорить об этом приятно и радостно не только потому, что всегда приятны воспоминания молодости, но еще и потому, чтобы ни от кого не утаить бескорыстное радостное понимание искусства, свойственное Ильфу.

Два ведуна

Слова поэта суть уже его дела.

А. Пушкин

Два старика, два ведуна встретились за общим столом: Андрей Белый и Михаил Пришвин.

Понятен тот интерес, какой существовал к личности Андрея Белого. Считали, что загадочный человек суров и необщителен. Но при встрече с ним бывало достаточно и получаса, чтобы это представление разрушилось. Вот и сейчас…

Пришвин читает по рукописи и говорит. Белый — одно внимание: рука возле уха, весь потянулся к говорящему, не хочет пропустить ни слова. Белый похож па бабушку. Рот у бабушки изящен, нежны нетонкие и неполные губы. Глаза широко раскрыты, смотрят, слушают, становятся добрыми. Брови образовали резкие углы. Господствующее выражение лица — выражение скорби, то и дело просветляющейся доброй улыбкой.

Но вот бабушка заговорила. И говорит бабушка быстро, так же быстро переходя от страсти почти ожесточенной к плавным испытанным интонациям актера, изображающего скорбь, подавленность.

Но нет, нет, это только так кажется: смотрите, он бодр, этот старик, похожий на бабушку, оживлен и очень весел. Смотрите, румяный и седоволосый боярин Пришвин глядит гораздо строже.

Но что же общего между ними?

Белый сам старается объяснить это, взволнованно рассказывая о своем впечатлении от пришвинских произведений. Конечно, прежде всего обоих писателей объединяет глубинность миросозерцания, философская, хотя и различная основа творчества. Оба чувствуют родственность языковой стихии. Вот Андрей Белый заговорил о том, с каким трудом он пишет.

— Да, да, — говорит он, — я не пишу… я не знаю стола… я шагаю, жестикулирую, кричу, выдавливаю из себя слова и синтаксис, чувствую разнообразие интонационных возможностей, дабы закрепить фразу так, как она звучит для меня, и потому возникают те «трудности», о которых я слышу вот уже тридцать лет… Это — мои трудности, от которых я не могу уйти… Я чувствую себя канарейкой, вылетающей из книги. Да, да! Книга — неподходящий футляр для литературы… Ведь это, послушайте, ведь это клевета, — и продолжает еще загадочней: — Послушайте! В будущем обществе произведение будет идти от

ритма коллективного труда: интонация, жест, тембр… То есть литература не останется «горловой» — она станет волевая… И вот это же стремление уйти от книги я чувствую у Пришвина.

Вот оно как! Белый говорит и о «втором значении» пришвинских текстов, о ненасытном ощущении природы, о радости этого ощущения, о животворной энергии слова — мускулатуре пишущего человека.

Иногда страстная речь пресекается, и тогда в зале слышно рычание: голос рычит, держится на выжидательной интонации — мысль закончена, другая еще не схвачена.

Ведун, похожий на старушку, вдруг замирает, но и оцепенение это полно порыва. Черный шелковый галстук тоже как бы взметнулся, распустился бантом. Примятые воротнички. Черная шапочка.

Пауза, дума. Решение.

И бабушка Андрей Белый, ведун, поясняющий самого себя, опять переходит в наступление — резко, сразу. И опять перед нами не бабушка, а страстный полемист, оратор. Снова высоко вибрирует голос, речь блещет богатством речений, и боярин с румяным лицом — Михайло Пришвин — слушает настороженно, спокойно, строго. Пришвин не слушает — внимает.

Внимательно слушаем все мы. Все мы есть соучастники волнующего размышления. Подумайте, согласитесь: это не только интересно, это прекрасно — слушать таких человечных, таких мудрых стариков, так много ведающих от прошлого своего века, так много чаящих от будущего. Ведь и мы, каждый из нас, молодых, того и гляди когда-нибудь сумеет сказать важное для общего нашего служения словом, важное для дела настоящего, в котором уже есть звуки будущего.

Есть тот же дом

Среди ветров и ветерков, колеблющих и наполняющих в разные времена Парус Плаваний и Воспоминаний были разные: и такие, что, случалось, заставляли раньше времени отшвартовываться от тех причалов, у которых, казалось бы, особенно приятно стоять каждому путешественнику. Именно тут, казалось, особенно приветливо и гостеприимно. Что скрывать — о подобных причалах мечтают и тоскуют моряки всех времен — и своих времен, и больших времен — общечеловеческих. Думают об этом и молодчики юнги, и старые морские волки, обожженные и усохшие под лучами всех широт, или, напротив, умудренные толстяки с трубкой во рту… О, как иной раз грезится этот берег с его видениями, соблазнительными голосами, женскими взорами и — из-под кружев или платка едва уловимое ощущение красоты, нежности и верности. Не слова — одно дыхание.

Не виноваты же эти угрюмые, или, наоборот, беспечные, медлительные или резвые, бывалые люди, с глубокими морщинами на лицах, с задорным огоньком в глазах, всегда молодых, неповинны же они в том, что особенный, морской бог существует; и он повел своим крылом, как ветром, по их душам; и поэтому уже никогда души эти не могут быть спокойны.

А случается: сладкие ветерки обманывают…

Но есть зато и другие ветры: вдруг наполняется Парус Воспоминаний, закипает у борта волна, и несет тебя, и ты слышишь, пожалуй, то же самое, те же песни, какие слышатся братьям всех моряков — поэтам и художникам. Одни из них называют это Нечаянная радость, другие — иначе, но это все равно! Все равно слышишь:

О, красный парус
В зеленых далях,
Черный стеклярус
На темных шалях…

Но глубже всего проникает, а случается — и навсегда — дыхание дружбы. Моряки говорят: в море — как дома.

На Кавказе не морское — горное братство, и там говорят иначе; там говорят: «Дом сердца твоего».

Хорошо знать, что и у тебя если не парус, то есть дом твоего сердца. Думаю, такой дом есть у многих, хотя и не все это подозревают. Не всегда об этом думаешь. Но вот приходит пора, и

ты с радостью, с благодарностью, иногда с тихой, нежной, задушевной тревогой вдруг это обнаруживаешь: да ведь и у тебя есть дом твоего сердца.

И дом этот, надо сказать, имеет не один, а часто несколько адресов, иногда в самых неожиданных направлениях. Конечно, прежде всего это дом отчий, дом отца твоего и матери твоей…

А то еще бывает, допустим, дом друга твоего — где-нибудь вдалеке, в горах — сакля или рыбачий курень на берегу любимого Черного моря. И в том доме, пойми это, училось твое сердце очень важным вещам — любви к природе, дружбе, чувству поэзии. Ведь не только в университетских стенах обучаешься наукам, нужным в жизпп, не только там строго и заботливо опекает нас альма матер (мать кормилица), как преданно именует свой дом сердца и ума студенчество всего мира.

Вот так и я однажды понял: у меня тоже, как и у многих литераторов, кроме отчего дома, есть еще один дом, о котором вспоминаешь с благодарностью. Да он так и зовется — Центральный дом литераторов. Хотя, позволю себе сказать, такое сухое формалистическое наименование нравится не всем литераторам. Когда-то здесь помещался просто наш писательский клуб — Клуб писателей — так назывался в ту пору известный знатокам старой Москвы особняк на тихой и тенистой «дипломатической» улице Воровского, прежде — Поварской.

Конечно, всегда приятно вспоминать свою молодость, но еще приятней верить, что дорогой для тебя золотой ключик перенимают из твоих рук твои дети и внуки, с тем чтобы и им было так же интересно и поэтично в этих многознающих залах — комнатах — и новых, пристроенных к старому особняку, и старых, основных, чудесно украшенных резным деревом и уютными каминами.

Послушайте, что я скажу вам: наша молодость в стенах когда-то алсуфьевского особняка московского богача и мецената была счастливой прежде всего потому, что молодость наша всегда была истинно демократичной, многим из молодых писателей, поэтов, критиков, участников клубных вечеров было присуще бескорыстное стремление к совершенству. Не ложное болезненное самолюбие, а истинное достоинство было знакомо нам. Это всегда начинается с чувства полезности существования, любви и веры в свое дело. Было бы оно — дело. Но это было так и это — не станем стесняться слов — дало богатые всходы.

Расскажу об одном из начинаний тех лет — о «чтениях новеллистов». Кружок сформировался по почину писателя Ефима Зозули, верного последователя и ценителя новеллистического жанра, его иные считали даже как бы фанатиком. «Подумайте, —

улыбаясь, говорили иные, — о чем он думает? Создать сто коротких рассказов. Зачем? Чтобы читатель так же любил их, как толстый роман».

Но возможно — Зозуля был прав. Потребность в кружке была очевидной. Кружок быстро вырос и стал как бы лабораторией, как бы даже маленькой «мануфактурой», поставляющей рассказы, очерки, новеллы не только в журналы, культивирующие этот жанр — «Огонек», «30 дней», — но и в толстые ежемесячники. Как в былые времена первые мануфактуры поставляли на рынок ситец и сукно. Спрос превзошел ожидания.

Что же удивительного? Из вечера в вечер, когда назначались эти собрания, на них можно было видеть и Константина Паустовского, и Андрея Платонова, и Льва Славина, и Александра Бека, и остроумного и беспощадного автора превосходной книги о Свифте — Михаила Левидова, в судьбе которого, кстати сказать, было что-то общее с его героем.

Торопились… Раскрывши тяжелую дверь из темного резного дерева, входили в ставшую уже привычной и милой, неизменную восьмую комнату с камином — и сразу видели: все на своих местах. Рядом с поблескивающим очками молодым Василием Гроссманом, чьи рассказы всегда ожидались с верой в них, с нетерпением, обычно устраивались его друзья — Николай Атаров, только что издавший свою первую книгу рассказов «Настоящее время», и Александр Письменный, автор повести «В маленьком городе». Эта тройка — Гроссман, Атаров и Письменный — последовательно отстаивали своеобразное единство взглядов в понимании з&дач реалистической литературы: факты жизни, факты и факты, детали быта, подробности и подробности, никакого приукрашивания — жизнь, как она есть! И эта программность умышленного бытописательства, вероятно, скреплялась общностью их работы в горьковских «Наших достижениях».

Многое казалось спорным, но это и было хорошо. Во всяком случае определенность, устойчивость эстетических взглядов «достиженцев» быстро завоевала общее уважение.

В восьмой комнате формировались литературные взгляды и мораль, все было пылко, все было интересно, немало нового, а кое-что внезапно приобретало, смею сказать, просто значение литературно-историческое. Так, например, однажды председатель очередного чтения предложил послушать нового автора. Скромный молодой человек, если не ошибаюсь, представленный Атаровым, начал читать — негромко, но твердо, убежденно. И с каждой страницей, на которых с ясной правдивостью по-новому описывалась колхозная жизнь, мы убеждались, что перед нами

талант незаурядный — и мы не ошиблись: был вечер первого публичного выступления Валентина Овечкина. Так же внезапно порадовал нас Олег Эрберг, писатель превосходный, безусловный мастер новеллы, к сожалению, рано погибший и до сих пор не оцененный по достоинству: ведь его «Афганские рассказы» восхищенно пропагандировал у себя на родине такой знаток литературы и азиатского Востока, как Бернгард Келлерман.

Там же, на содержательных и взволнованных чтениях, прозвучали первые эффектные новеллы Вадима Кожевникова, ныне автора многих круппых популярных произведений…

Объявляется перерыв: приоткрываются окна, медленно вытягивает табачный дым. Подают чай и печенье. В дальнем углу мой добрый друг, завсегдатай новеллистов Семен Гехт, писатель, охотно работавший в газетах, продолжает спор с Александром Беком, всегда увлеченным насущными темами пятилеток. В другом углу свежелицый Ефим Зозуля, в пенсне, высоко подняв голову и слегка подергивая ею, терпеливо выслушивает незнакомого молодого человека.

Спокойно-вразумительный Николай Москвин, со своей несколько застенчивой ухмылкой, покуривая, дослушивает то, что хотел ему досказать по поводу только что прочитанного рассказа забредший на новеллистов Володя Тренин, автор исследований о Маяковском, и соавтор таких же молодых литературоведов, «лефовцев» — Грица и Харджиева.

Несколько раз появился здесь и Бабель. Если не ошибаюсь, именно здесь он прочитал свой новый рассказ «Улица Данте». И уж никогда не забуду тот вечер, когда после чтения мы засиделись с ним за столиком, и он сказал мне то, что я всегда помню, как наставление старшего младшему. Чтения в тот вечер были, вероятно, малоинтересные, и недовольный Бабель говорил:

— Покуда ты читаешь или слушаешь, ты объект писателя. Но по-настоящему начинаешь читать, когда книгу закрыл.

Тогда ты становишься соавтором. И это важнее всего. Горе, горе мне! Я редко испытываю это наслаждение — чувствовать себя соавтором хорошей книги.

Но при этих словах — и тут я не ошибаюсь — он по достоинству оценивал те же очерки Овечкина, роман Островского «Как закалялась сталь», не раз эти произведения он хвалил публично. Он находил здесь то, чего не хватало, к слову сказать, иным произведениям «достиженцев», соблюдавших свой символ веры, — полета души, воображения при горячем чувстве жизни. Помнится, как раз среди этих рассуждений он сказал об одном из наших товарищей:

— Едва ли из него выйдет толк.

— Почему же?

— У него ленивая душа, не любит отрываться, идти туда, где может быть круто… Милый человек — он избегает сомнений.

Привязанность к человеку, о котором шла речь, мешала мне понять собеседника. Бабель, видимо, взволновался, разрумянился и, глядя на меня сквозь круглые очки умными глазами, продолжал:

— Да, да, вы уже вступались за него, говорили, он любит литературу. Но я боюсь, что он любит не литературу, а литпродукцию.

Не будем говорить, насколько оправдались опасения нашего славного земляка.

Иногда мы встречались здесь с другим земляком — Юрием Карловичем Олешей, и нам было особенно приятно чувствовать много общего между духом, господствующим на собраниях новеллистов, и радостью воспоминаний нашей общей юности, что воспитывала нас в Одессе в «Зеленой лампе», в коллективе поэтов: те же бескорыстные и настойчивые поиски совершенства, нелицеприятность.

Молодо-шевелюристый и молодо-общительный Леонид Леонов, руководивший в ту пору кружком прозаиков при Гослитиздате, иногда заглядывал и в клуб к новеллистам, случалось, с Владимиром Лидиным или ленинградским гостем Константином Фединым. А если вдруг появлялся Виктор Шкловский, программа очередного чтения в восьмой комнате быстро собирала сюда всех из других комнат — и тех, кто пришел в клуб, не предполагая слушать новеллы. Все было пылко, неравнодушно…

…Павел Нилин и Матильда Юфит; Евгений Босняцкий и Сергей Урнис, соавторы, выступающие под псевдонимом Тихон Булавин, Яков Рыкачов, чьи повести и рассказы хвалил Горький; юный и неподкупный Миша Лоскутов; такой же юный и пылкий Ваня Меньшиков; Осип Черный с его новой для литературы темой: музыканты; Эмиль Миндлин, с именем которого всегда связывали тогда поход ледокола «Красин»… Нет, боюсь, всех не вспомнишь! А вот милый добрый Сергей Матвеевич Ромов, заведующий редакцией «30 дней», жадно ожидающий хорошего рассказа и в случае удачи уходящий отсюда с рукописью под мышкой.

А вот и сам редактор «30 дней», шустрый, необыкновенно предприимчивый Василий Регинин, знакомый мне еще по одесскому кафе поэтов — «Пэон четвертый». Ведь это по его почину Илья Файнзильберг и Евгений Катаев начали «роман с продолжением» для «30 дней» — «12 стульев». Утверждали, что

Регинин — еще в Петербурге — однажды на пари вошел в клетку с тиграми, и, разумеется, это очень располагало к нему молодых литераторов. А вот умный и острый критик Александр Роскин, автор книг о театре и о Чехове, рядом с ним добродушный толстяк Евгений Чернявский, погибший в испепеленном Севастополе с другим завсегдатаем кружка новеллистов — Хамаданом… А вот молодой Рахтанов читает рассказы «О бешеных мужиках», а журналистка Софья Виноградская — записки о строителях метро или увлеченно рассказывает о своей совместной работе в «Правде» с Марьей Ильиничной Ульяновой, о том, как она, совсем еще девчонка, смущалась, когда по звонку брала телефонную трубку и вдруг слышала голос Владимира Ильича Ленина.

А в углу, в сторонке, молчаливо сидел узколицый человек в стареньком и всегда аккуратном флотском кителе — Николай Никандрович Никандров, уже в то время один из старейших писателей, человек биографии необыкновенной. Подойдешь к нему, заговоришь, он ответит немногословно:

— Дружок мой, мне не интересно, о чем читают, что читают, меня интересует, как пишут теперь.

Этот человек мог сопоставить наши творения, профессиональные дебаты со взглядами Сергеева-Ценского и Александра Грина, Куприна и Андреева, высказанными в узком кругу; при желании, было чему у него поучиться.

А писали, право, все-таки не плохо. Расходились по домам, преисполненные художественных впечатлений и добрых надежд — одни, кто постарше, — к семейному уюту, другие — и таких было больше — в свой холостяцкий угол, украшенный признаками веселой нищеты.

Иных уж нет. Имена иных новеллистов — и прежде всего самого Ефима Зозули, погибшего в первые месяцы Отечественной войны в писательском ополчении, — имена этих товарищей — и Зозули, и Роскина, и Тренина, и Чернявского, и Хама-дана, и Михаила Розенфельда, и Вани Меньшикова, погибшего в партизанском отряде, — выбиты ныне золотыми буквами среди других имен на мраморных досках нашего ЦДЛ — Центрального дома литераторов…

Золотыми крупными буквами записано многое. И это утверждение не есть пустое празднословие, потому что чуткая и чистая молодость, постигающая тайны и волшебство слов, и их сочетаний ради доброго дела, бывает только один раз, и сама заслуживает самых лучших слов. Говоря по-современному, именно тогда было запрограммировано наше будущее,

современное. Потому и вспоминается тот дом, который для многих стал домом сердца. Хорошо, если можно сказать именно так.

Разум сочетается с познанием общего и высшего блага — добра. И на правильно избранных путях ты, друг мой, мой самый взыскательный собеседник, душа моя, всегда можешь остановиться для беседы, отдыха и размышлений в самом благословенном и благодарном из пристанищ — в своем же доме. Не было бы там только пусто, ибо «и дом и стол, на котором нет ничего, не дом и не стол, а лишь доски».

И как радостно, когда под парусом воспоминаний на ходу закипает волна и приносит тебя в дом, где не пусто.

Толя Луначарский

— Письмо допишу после боя — так обещал однажды Толя Луначарский, сын Анатолия Васильевича Луначарского, своей матери Анне Александровне.

Мало сказать, что Толя очень любил мать. Это не выразит меры того обожания, нужды в ней и веры в нее, с каким сын относился к матери. Одного этого было бы достаточно, чтобы с благодарностью и нежностью вспомнить милого светлого юного человека — то задумчивого, то порывистого, даже несколько несдержанного — Толю Луначарского. Говорить с ним о его любимых людях — о матери, о молодой его жене, Елене Ефимовне, о появившейся, можно сказать, у нас на глазах дочурке Анютке, о его друзьях, о литературе, о замечательном человеке, его отце) — всегда было удовольствием, той лучшей школой из школ, праздничной «воскресной» школой, какая иной раз счастливо приоткрывается перед нами.

О литературе, о мечтаниях молодых людей тридцатых годов мы с Толей, случалось, говорили именно в ту, невозвратную пору нашей молодости. Нам не очень мешала серьезная разница в летах. Литературные встречи в те годы всегда были и неравнодушными и дружелюбными, всегда было о чем поспорить, чему порадоваться, о чем помечтать. И Толя Луначарский, появляющийся на тех вечерах, вспоминается мне всегда с тяжелой пачкой книг под мышкой; и этот — в ту пору — совсем еще юноша, скромный, немного даже стеснительный, умевший внимательно слушать, начав говорить, удивительно быстро умел взять быка за рога, высказаться и хлестко и убедительно. Снова и снова юношеская горячность стремилась сказать: все, о чем я говорю, уже стало делом моей жизни и другого от меня не ждите. Правда и любовь — вот самое желанное! Всегда при этом чувствовалось, что он сам внимательно следит за собственной своей речью, чему-то учится. И теперь, когда перед нами открыты — хотя бы и немногие из сохранившихся — его письма и дневники, видно, что давнее впечатление было верно: Толя Луначарский всегда учился быть человеком. Он унаследовал от родителей и широкий взгляд, и верный вкус, и горячую веру в идеалы социалистической эры. Это, пожалуй, первое, что следует о нем сказать.

Милые, светлые тени! Милые и светлые воспоминания! Дорогие имена наших детей, внуков, младших друзей! Вот сын Эдуарда Багрицкого, Сева, которого я знал еще в корзине,

заменявшей ему колыбель! Вот чистый задумчивый Никита Шкловский, сын Виктора Шкловского, мальчик, ставший артиллеристом, погибший на своей батарее буквально в последние дни войны, под последними залпами. Пусть они и совсем юнцы по сравнению с Толей Луначарским, которому было уже лет под тридцать, все равно — все они сверстники и ровесники доброй ратной славы, навсегда осенившей любимых героев романтических пьес и воспоминаний — Коган, Кульчицкий, Валя Литовский, в детстве сыгравший Пушкина-мальчика и погибший так же, как погибали его сверстники, вчерашние школьники…

Принято говорить о женской доле. Вкладывают в это выражение особый горький смысл. А разве нет мужской доли?! Доли солдата. Понимать сей долг, выстоять — разве это не доля мужчины?! В этом есть та же самая, такая же горькая отрада, какую в прежние времена придавало «бабьей доле» народное представление. Опасность и заманчивость отваги. Горе разлуки. Свирепость, беспощадность. Окоп, огонь и окрик, автомат и полевая сумка — все это вместо вчерашнего ранца с книгами, материнского взгляда, отцовского слова… Это ли не особенная доля!

Многие, многие из юношей и молодых мужей того поколения никогда не смогут сказать сами за себя, о себе — и мы должны сделать это за них.

Вот не договорил и Толя Луначарский, и он не дописал письма…

Точнее, ему удалось исполнить обещание, данное матери: упомянутое письмо было действительно дописано после боя, но вскоре после этого и в самом деле письма прекратились. Это случилось после того, как Луначарский участвовал в первой попытке высадить десант под Новороссийском… Но я помню встречи с ним также еще и в Севастополе в первые месяцы войны, где группировались тогда москвичи литераторы, призванные на Черноморский флот, — и сначала расскажу об этом.

Солнце светило, кричали петухи, веселил мирный звон известных своею древностью севастопольских трамваев, созревали виноградники, но уже при всем том не радостно, а как-то печально было смотреть с высоты каменных трапов на дальнюю синеву моря: все чаще великая беда напоминала о себе налетами с воздуха, жертвами на море, казалось бы еще безмятежном.

Бои шли на Днепре и вокруг Одессы, а только накануне в морском дозоре погиб дежурный катер: на полном ходу кораблик

наскочил на мину. Не нашли ничего — только две-три плавающие бескозырки. Катером командовал лейтенант, с которым успел подружиться младший лейтенант Луначарский, состоявший тогда при штабе ОВРа (охрана водного района). В ту пору ОВР был самым активным соединением флота. Крейсеры и эсминцы ходили под Одессу, уходили туда под прикрытием конвоев транспорты с войсками и оружием; и тогда маленькие бойцы — катера и тральщики — неизменно опять сопровождали корабли высшего ранга. Назначение Луначарского в ОВР, конечно, было интереснейшим, многие из нас, прикомандированных к другим частям флота, а в большинстве — к редакции общефлотской газеты «Красный черноморец», охотно посещали базу ОВРа в Стрелецкой бухте, моряков-катерников.

Я застал-Луначарского за расклейкой стенгазеты. Этим не исчерпывались его обязанности. Он (как, впрочем, и многие из нас) был и газетчиком, и докладчиком по литературным и текущим политическим вопросам, и сотрудником «Красного черноморца», и корреспондентом московских изданий, и автором сценических клубных миниатюр, и собирателем флотского фольклора, и летописцем, и историком, и главное — при всем при том — писателем и поэтом с душою, обеспокоенной небывалыми впечатлениями войны.

В работах Луначарского, в его разнообразном амплуа была еще одна особенность, которой он придавал первостепенное значение. Он владел английским и поставил себе задачу — хорошо усвоить немецкий и другие языки. Именно в этом видел он свое предназначение, считал, что тут он может принести наибольшую пользу, и потому дорожил каждым свободным часом для усовершенствования в языках, как он сам говорил, работал «до одури».

Недавно прибыли в Севастополь английские офицеры-специалисты по магнитным устройствам, с их помощью оборудовались противоминной защитой корабли, была нужда в переводчиках, и знания Луначарского действительно оказались очень кстати.

— Здравствуйте, Луначарский! Ого, усики уже заметны?

— Здравствуйте, Бондарин! — не отрываясь от работы, отвечал он.

Было модно на флоте отпускать усы — и Толя решил последовать моде: подстриженные усики на сухощавом лице, высокий лоб, воротник кителя расстегнут, прядь темных волос спадает на лоб; темные, чаще всего задумчивые глаза сейчас очень печальны, и я догадываюсь о причине.

Он говорит:

— У вас в редакции (то есть в «Красном черноморце»), конечно, уже знают, что случилось в море… А знаете ли вы, что я должен был идти на катере?

Я этого не знал.

— Немного вы знаете, — улыбнулся Толя, — А знаете ли вы, что я каждый день пишу домой? Когда-то отец был в моих глазах человеком-солнцем, и тогда у меня было два солнца — отец и мать. Потом осталось одно. Мать осталась для меня всем: мое вдохновение, мужество, мое будущее! Вы знаете, что она не только любит детей — она ведь тоже писательница. Она трудится над великой книгой — книгой своей жизни. Ведь у них (то есть у Анны Александровны и Анатолия Васильевича) в их молодые годы был роман, достойный сопоставления с романом Герцена и Захарьиной… Но это так — между строк. Мать — женщина возвышенно-романтической революционной и безукоризненно правдивой жизни, такою должна быть и ее книга — такая же совершенная по своей силе правдолюбия. Никаких выдумок. Изобразить человека нашего времени! — ведь пока такой книги еще нет. Мы ее напишем. Написание жизни — ведь это самый интересный, самый нужный путь. Я напоминаю об этом матери в письмах каждый раз. Я и сам всегда думаю о такой книге. «Путешествие в свою жизнь», — что может быть интересней! Ведь то, что мы начинаем здесь, в Севастополе, видеть и понимать, все наше огненное время, раскрывает нас с вами перед людьми беспощадно в ракурсах неожиданных, и это ни в коем случае нельзя упускать. Меня они (мама и жена) спрашивают… Да, я забыл сказать вам, что теперь у меня опять два солнца. Этого вы, может быть, тоже еще не знаете. Вы не знаете, какой свет и тепло, какое солнышко молодости моя жена, Елена Ефимовна… Впрочем, зовите и вы ее Аленкой, как все. Аленка! Солнышко! У нее на личике монгольского склада необыкновенные небеснославянские глаза. И все в ней необыкновенное… Боже, удастся ли мне увидеть их так скоро, как мечтается!.. Знаете, может быть, и удастся! Намечается.

— Что намечается?

— Деловая командировка в Москву. С моими англичанами. Ведь жгучая мечта — это уже факт!..

Не скрою, что я позавидовал товарищу, его мечте. Но этакой удаче позавидовал бы каждый из нас, каждый хотел превращения задушевнейшей мечты в факт — тем более что не каждый из нас успел проститься со своей семьей: некоторые москвичи были зачислены в кадры здесь же в Севастополе, где группой работали по истории кораблей флота и где и настигла их война. Так случилось и со мной.

Я смекнул, что можно будет хотя бы кое-что передать с Толей. Он, конечно, охотно согласился и в свою очередь стал собирать свои письма, приготовленные к отправке.

— Какое счастье они доставляют мне! — продолжал он, — как хочется мне радовать их! — и тут он приостановился, глубоко и счастливо вздохнул, глаза его заблестели, и он сказал не без гордости: — У нас скоро должна быть дочь.

— Поздравляю. Но почему вы так уверены, что дочь?

— Не знаю, почему, но уверен, что будет новая маленькая

Аннушка, в честь мамы — Анютка, Анка… Вот, пожалуйста, возьмите и отправьте с почтамта — все-таки скорее. Они спрашивают: «Как живешь? Какие приключения?» А какие у нас приключения? Вот разве это? — он показал на стол, на котором стояла шахматная доска с недоконченной партией. Фигуры сохраняли свои позиции. Толя задумался, как бы ища ответа на какой-то вопрос, сказал:

— А я проигрывал лейтенанту и, может быть, поэтому не спешил к нему на катер. А ведь хотелось выйти в море, я уже получил разрешение, мои англичане уехали в Новороссийск… Надо торопиться познать как можно больше… Но вы представляете себе, какое это будет счастье, когда войны не станет. Будет же, будет так.

— Как?

— Что не будет войны. Какие мы еще будем счастливые!

Признаюсь, в моих глазах все выглядело сложнее: гитлеровцы уже приближались к Ленинграду. Меня иногда даже раздражали «легковесный» оптимизм Луначарского, его восторженность, казавшиеся мне несовместимыми с событиями первого периода войны. Я хорошо видел, что это не был совершенно уже невыносимый «оптимизм», который, увы, встречался довольно часто, но проистекал от невежества духовного, от гражданского равнодушия, и все-таки озадачивал меня и Толя: как же так? Ии царапинки, ни трещинки? Значительно позже я попял: то, что казалось мне юношеской беспечностью, было выражением именно неколебимой гражданской веры, стойкости, свойственной именно юношам военного поколения.

Серьезный, сосредоточенный тогда, когда он думал о серьезном, веселый, остроумный в минуты веселья и всегда жизнерадостный от веселого и неизменного содружества с чувством победоносного добра — в этом и была собственно молодость, билась, как кровь, постоянная потребность творчества, всеобъемлющая черта характера. Этого никогда не теряли и другие его ровесники — тот же Сева Багрицкий или Никита Шкловский.

— Не может быть иначе, — продолжал Луначарский, — Мы все равно победим… И я тоже знаю твердо, что «гитлериада» закончится катастрофой. Но скажите, могу ли я сейчас написать маме и Аленушке об этом моем… приключении, — он выразительно показал на доску с недоигранной партией, — не бессовестно ли это? Вообще наше положение очень странно. Я имею в виду положение литераторов, поэтов. Ну, у меня это как-то определилось больше, чем у других, мне очень повезло, и я очень хотел бы и дальше работать, как переводчик… Вот еще газета… разные задания от политотдела… А те, что в «Красном черноморце» — роль как будто и ясная, но настоящий писатель не может удовлетвориться ролью репортера, хотя бы и фронтового. Это нужно — не спорю, но я говорю о другом удовлетворении, нужном при сложной духовной и умственной работе. Вам не кажется, что это так?

Конечно, это было так.

Рассуждения Толи Луначарского были не случайными. Мысль, занимавшая его в нашем памятном севастопольском разговоре осенью сорок первого года, служила импульсом, едва ли не главным, в поведении многих литераторов, писателей и поэтов в течение всей войны: правильно ли понимается задача писателя, призванного к военной службе, именно в этом его профессиональном качестве? Лучшим ли образом исполняется гражданский патриотический долг?

Разумеется, вопрос беспокоил не только самих писателей, художников, артистов — над этим вопросом приходилось ломать голову, надо полагать, каждому, кому надлежало решать его по долгу службы, по своему положению. Думали об этом и те, кто, казалось бы, не имеет к делу прямого отношения. Работникам искусств не раз приходилось быть бок о бок с бойцами и командирами и в кают-компаниях и на переднем крае.

В конце зимы и начале весны сорок третьего года разговор на эту тему, начатый когда-то в помещении политотдела в Стрелецкой бухте, заново вспыхивал в кают-компании боевого корабля «Красная Грузия», десантной канонерской лодки из отряда кораблей, принимавших участие в операциях под Новороссийском. Поводом для горячих дебатов в кают-компании служил пример поведения в боевой обстановке младшего лейтенанта Анатолия Луначарского, писателя, прикомандированного к десантникам.

Многое было пережито почти за два года войны.

Нужно сказать, что многое случилось за это время и в личной жизни молодого Луначарского. Его заветные мечты и надежды не

остались только мечтами. В тот, теперь такой далекий севастопольский период ему удалось побывать в Москве и вывезти оттуда Елену Ефимовну. Я помню тот день, когда после недолговременного ожидания Толя отправлял молодую жену из Севастополя дальше в тыл. Несмотря на горечь новой разлуки, Луначарский сиял — другого слова не скажешь. И он был прав: обаяние женственности в сочетании с мужественным спокойствием украшало каждый жест и каждое слово Елены Ефимовны, Аленушки. С трогательной заботливостью Толя усаживал юную женщину, готовящуюся вот-вот стать матерью, на переднее сиденье грузовика рядом с шофером, отправлял ев в Керчь и дальше, на Кавказ, куда эвакуировались в те дни семьи севастопольцев. Туда же вскоре приехала из Москвы Анна Александровна, там же Аленушка родила, и опять-таки желание молодого отца исполнилось — родилась девочка. Есть фотография: лейтенант Луначарский с маленькой годовалой Анюткой на руках…

Все сплеталось и расплеталось бурно-захватывающе, нередко жестоко и беспощадно: на руках была Анютка, но Севастополь пал. В Севастополе погибли наши товарищи — литераторы Хамадан и Чернявский. Говорили о том, что Хамадан отказался от места в самолете, уступив его незнакомой беременной женщине. Женя Чернявский, добродушный толстяк, погиб безвестно. Погиб и другой Женя — Евгений Петров, торопясь в Москву с информационным материалом для ТАСС о тяжелых (в сущности последних) днях Севастополя. И опять вставал тот же самый вопрос: как быть? Что говорить — сладко, но более чем странно становилось баюкать по ночам плачущую Анютку и думать либо о Севастополе, либо о боях на Кубани или в Сальских степях, надеясь при этом когда-нибудь непременно написать произведение, отражающее великие противоречия войны. Важнее этой надежды была потребность поставить на карту свое мужество и честь, познать, может быть, и страх боя и его преодоление.

И нелегко — и не одному Толе Луначарскому. Не каждому и не сразу удавалось выработать в себе ту духовную доминанту гражданского целомудрия, убежденности и долготерпения, которые так нужны в долгих испытаниях войны. В вихре сокрушительных впечатлений не сразу постигалось главное: где бы ты ни оказался — на берегу или на корабле, в стуке редакционных пишущих машинок или в тишине штурманской рубки, в гулких казармах морской пехоты или на артиллерийской

батарее — всюду лучшим и спасительным твоим другом-советчиком остается естественный навык пишущего человека — карандаш, записная книжка…

Многое отразилось и в записных книжках и в письмах Луначарского.

Помнится, однажды Толя поставил такую дилемму:

— Есть два способа жить, вернее, два противоположных взгляда на жизнь. Одни думают, что наше поведение— это результат сложных влияний извне. Другие — и должен признаться, что я придерживаюсь второго воззрения, — другие считают, что внешнее поведение человека тем правильнее, тем проще, чем большую внутреннюю работу он совершил. Внешнее — результат духовной жизни.

Помнится, кто-то заметил при этих словах, что, дескать, воззрения Луначарского попахивают идеализмом, это-де не марксизм… Но для меня несомненно, что философия молодого Луначарского была из тех, что, по Марксу, не есть только рассуждение, но и действие.

Туго сплетались удачи и неудачи, огорчения и радости, обиды и поощрения — в литературной, клубной, журналистской разнообразной и всегда срочной прифронтовой работе. Уже не всегда глубокая дружба с матерью и женой, еще остававшимися рядом с Толей, вносила равновесие в противоречивые чувства. А еще недавно так занимали даже маленькие, смешные, семейные бури, не говоря уж о забавах с маленькой Анюткой. Чем решительнее завязывались бои вокруг Новороссийска, тем ощутительней становилась, по выражению самого Луначарского, «жажда войны», прямого в ней участия. Стыдно было продолжать работать вдали от опасностей и риска, в условиях привычных городских удобств, заниматься скетчами, джаз-программа-ми, пьесами, иногда вселяющими какие-то иллюзии, а чаще приносящими только огорчения. Все чаще вспоминались толстовские «Севастопольские рассказы», выраженное в них презрение к смешной борьбе самолюбий в среде севастопольского офицерства и примиряющая этическая сила общенародного подвига. Все яснее понималось, что и сейчас в этой страшной тотальной войне главный герой тот же, что вдохновлял Толстого, — правда. Только тот, кто не страшится искать правду, приближается к своему герою.

Луначарский и сам язвительно отзывался о мелочных страстишках иных культработников тыла, людей, иногда случайных на флоте. Но однажды (как раз во время чтения Луначарским его новой пьесы перед актерами акимовского

Ленинградского театра комедии, подвизавшегося в те дни в Сочи) кто-то назвал Луначарского «игрушечным, военным» — и после этого ощущение неестественности положения стало совсем невыносимым.

Но вот Анна Александровна и Елена Ефимовна, забрав крошку Анютку, отправились обратно в Москву. Толя начал устраивать жизнь но-другому. Давно уже не стало англичан — минных специалистов. Сначала он откомандировался от театрально-клубных и репертуарно-джазовых занятий в части морской пехоты, защищающие Кавказские перевалы, — и это пребывание па переднем крае в Абхазских горах принесло ему, наконец, долгожданные, — истинно фронтовые впечатления, усиленные своеобразием горной войны, — а потом еще большее удовлетворение он нашел на «Красной Грузии».

Среди моряков личного состава корабля, израненного в боях, Луначарский нашел то, чего не было прежде. Он очень нуждался в переменах после довольно длительного и довольно безотрадно-суетного периода «береговой службы» в Сочи, Туапсе, Геленджике: тут он отдыхал душою, хотя в воздухе становилось все тревожней.

В кают-компании продолжались горячие споры; слушая их, Толя внутренне ликовал, писал в Москву письма одно другого восторженней, а просыпался каждое утро — да и не только он один — с вопросом: еще не началось?

Со дня на день ожидалось повторение большой десантной операции.

На корабле он сблизился с многими из командиров и старшин. Особенно подружился он с лекпомом корабля, молодым, милым интеллигентным человеком, и увлекся новым замыслом, приписывая новому своему герою многое из того, чем жил сам.

В дневниках и письмах он сообщал:

> «Сейчас я приступил к большой повести «Мой корабль» (записки военфельдшера Синеокова). Сюжет такой: на героический корабль — высаживатель десантов приходит лекпом, то есть лицо, заменяющее корабельного военного врача, — молодой человек, давно рвавшийся на море, к героике войны из узких рамок тыловой (в военном смысле) работы. Попав на корабль, он чуточку разочарован, так как мечтал о крейсерах, эсминцах — «красавцах богатырях» моря. Однако чем дальше он живет на «своем» корабле, тем больше

начинает он понимать его высокую ценность, его великолепные качества, а главное — преисполняется любовью к людям корабля, которых зорко наблюдает и яркие портреты пишет в своих записках. Вместе с тем, и сам он все больше из гражданского растяпы, только переодетого в военный мундир, из «сутулого интеллигентика» (выражение Александра Ромма, который сам немножко сутулый) становится настоящим воином. Кончается вещь героическим эпизодом, в котором герой повести становится героем войны…

Кроме того (записывал дальше Луначарский), я работаю над короткими новеллами, над историей корабля, читаю Белинского, Брандеса, Шекспира (по-английски), шлифую пьесу (она теперь называется «Черный комиссар»), иногда пишу песни и листовки, стараясь и это делать со страстью. Кстати, позавчера у меня был сюрприз: Московское радио передало мой очерк «Поединок».

…Мамочка, сердце! Я так мечтаю о встрече и верю, что это уже не за горами… Мне для этого нужны две победы: нужно победить немца и самого себя… Ах, как ярка жизнь, как она могуче многообразна!»

С особенным жаром и нескрываемым чувством гордости он передавал в письмах к матери то, что так взволновало его в кают-компанейских дебатах: «Во мне признали не только писателя, — сообщал он, — обо мне говорят: «Он не только писатель; Луначарский — боевой товарищ».

Скажите, кто не гордился бы таким признанием?

Однако, нужно сказать, некоторые оспаривали правильность поведения на борту литератора Луначарского, считали, что не было необходимости оставаться на мостике рядом с командиром корабля в момент высадки под прямым лучом неприятельского прожектора, под бешеным огнем с берега. Толя спрашивал Анну Александровну, неизменную свою совесть, совесть-наставницу: «Скажи, мамочка, мог ли я тогда уйти? Ведь Катунцевский (командир корабля) не уходил с мостика. Как же оставить его одного — без чувства плеча? Как же потом я мог бы писать? Как я смел бы писать? Разве можно писать иначе? Если бы я сделал это, вся моя жизнь пошла бы дальше вкривь и вкось…»

И все-таки: мог ли Луначарский уйти из-под пуль и осколков в опасную минуту? Нельзя уклоняться нам от прямых вопросов жизни, ведь в этом и есть смысл литературы — в поиске прямого ответа. В самом деле, правы ли те из командиров (а иногда, нужно сказать, к такой точке зрения склонялись и литераторы), которые спорили и говорили, что, дескать, пе в этом дело писателя. Вот, дескать, убили бы — и некому написать то, что должно быть написано, ради чего, собственно, и призваны и Луначарский, и другие писатели…

Да, не простой вопрос — сложно, очень сложно! Еще не раз будет вставать этот вопрос. Записная книжка в полевой сумке не упрощает дела, а только еще больше усложняет его, ко многому обязывает. Великая Отечественная война дала нам обширнейший опыт и в этом отношении, мы знаем немало имен писателей-фронтовиков, проявивших геройство, но знаем также при этом, что не всегда совпадают признания геройства и доблести воинской с признанием именно литературных заслуг писателя-фронтовика. И надо полагать трудная загадка, если она правомерно существует, прячется именно здесь.

Нелегко было и Толе Луначарскому, хотя он и продолжал радоваться новой радостью. Он уже верил, что поиски военной судьбы привели его к желанным находкам. Матери он писал:

«Я уже послал вам две рекомендации, которые мне дали командир корабля и комиссар. Посылаю третью, данную мне капитан-лейтенантом Кравченко. Вот она:

«…Знаю т. Луначарского Анатолия Анатольевича по совместной службе на к/л «Красная Грузия» с января 1943 г.… В период боевых десантных операций т. Луначарский проявил себя как бесстрашный и мужественный командир, все время находился на самых опасных участках и на месте изучал обстановку, помогая бойцам принимать правильные решения. Считаю, что т. Луначарский с честью оправдывает высокое звание коммуниста и рекомендую его в члены ВКП(б)…»

Толя и не старался скрывать своего восхищения — иначе не скажешь — тем, что его рекомендуют в кандидаты членов партии «по боевой характеристике».

— Расту колоссально! — восклицал он. — Я сильный, как никогда. А ощущение силы — это же и есть начало творчества.

В письмах домой он твердил:

«Любимые! Живу и борюсь для вас! Любите и вы меня, не забывайте».

Он не забыл повторить этот призыв и в том — последнем — письме к матери, которое и в самом деле, как и вся главная книга, книга о путешествии в собственную жизнь, осталось

недописанным. Пробил час — и очередное письмо к Анне Александровне действительно и навсегда оказалось прерванным.

Это произошло в первых числах сентября 1943 года, за несколько дней до нашей окончательной победы под Новороссийском.

На «Красной Грузии» бил колокол громкого боя — боевая тревога, аврал или съемка с якоря.

О предстоящем походе знал, конечно, и Толя: корабль принимал бойцов десанта и боевое снаряжение. Но увлеченный письмом и своими жгучими мечтами, которые, по его давнему убеждению, равноценны фактам, Толя не слышал, как погрузка корабля закончилась перед выходом в Цемесскую бухту для последнего решительного штурма Новороссийска. Он выскочил из каюты по боевой тревоге, в каюте на столике осталось недописанное письмо, широкий листок бумаги, прижатый чернильницей…

«Жгучая мечта — это уже факт, это уже сама жизнь».

«Ощущение силы — это уже обещание творчества».

«Уважение товарищей — это едва ли не самое большое завоевание за время войны».

«Честь! Уважение! Это так важно для писателя, — говорил Луначарский. — Вы как-то спрашивали, — говорил он еще, — что всего важнее для писателя на войне — хорошо писать, метко стрелять, бесстрашно защищать свою правду? Думаю и то, и другое, и третье — это и есть оружие писателя».

Еще вихрились замыслы интереснейшие. Как всегда, казалось, только теперь понято самое главное, и теперь несомненно будет истинное, настоящее, хотя уже и составлены циклы стихотворений, и песни, и театральные пьесы, и даже повести, а кое-что уже даже поставлено на клубной флотской сцене. Кое-что еще обдумывалось и дорабатывалось, а не было предела надеждам, помыслам и замыслам. Но (воистину роковое, неисповедимое, жуткое «но») — уже заканчивалось, точнее, вдруг оборвалась та Главная книга, о которой сын мечтал вместе с матерью — книга отважной правды, любви и силы…

Я помню слезы Толи Луначарского при рассказе о геройском подвиге моряков, последними оставившими Константиновскую батарею в Севастополе — всю в дыму и тучах пыли, в огне и крови. Может быть, именно в этот момент рассказа он решил быть таким же, как севастопольские матросы, вплавь пустившиеся через бухту с Северной стороны к памятнику Погибшим кораблям — с раненым командиром на руках. Многое совершалось в душе человека, желающего безупречной линии поведения в жизни. И

вот при высадке нового десанта в Станичке Толя Луначарский спрыгнул с борта на берег вместе с бойцами, не желая отстать от них.

…Более точно обстоятельств его гибели я не знаю. Слышал: вместе с группой моряков он вел огонь, на бойцов обрушилась стена дома. Другие уверяли, что видели его черную шинель с обгоревшими полами.

Никто не мог рассказать об этом больше или точнее.

Произошло это 12 сентября 1943 года в битве за Новороссийск. 15 сентября лейтенант Анатолий Анатольевич Луначарский был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.

Позже мне пришлось в Москве навестить Анну Александровну. Не забыть мне этого свидания… Мать все ждала сына — думала, что он не хочет показываться в Москве, вернуться к своим родным, стыдясь уродств тяжелых ранений.

Анна Александровна так и умерла с уверенностью, что Толя жив и рано или поздно должен появиться.

В гостях у внуков

Не знаю, летал ли Паустовский в Одессу самолетом, но он утверждал, что лучше всего к Одессе приближаться воздухом, приближаться и ждать с замиранием духа: вот-вот под крылом самолета неоглядно сверкнет море… «Не худо, — добавлял он, — также увидеть широкую панораму города, приближаясь морем».

Много раз и я видел с лукоморья город, пестрящий и поблескивающий, раскинутый на холмах с вознесенными над крышами и деревьями прожекторными мачтами стадиона и мощным куполом оперного театра. Белая полоса брекватора и белая свечка маяка. Высокие суда у причалов. Чаща портовых кранов…

Осенью сорок первого года приходили мы в Одессу на боевых кораблях из Севастополя. Незабываемо то чувство тревоги, боли и любопытства, какое испытывалось при виде знакомой с детства лукообразной бухты и города, осажденного врагом.

Выходили в море для артиллерийской поддержки войск обороны и прислушивались к ходу боев — то на правом фланге, в районе лимана, куда наши бабушки ездили на смешном паровозике принимать целебные ванны, а теперь располагалась морская пехота, то на левом фланге — за пригородными курортами на высоком берегу: Ланжерон, Аркадия, Большой Фонтан, Сухой лиман — нынешний Ильиче век, где дымит и грохочет теперь новый мощный порт.

На рейде Одессы видели и восставший броненосец царского флота «Потемкин», и дредноуты англичан, и крейсеры французов во время интервенции. Мои сверстники безошибочно по силуэту на горизонте отличали линкор «Айрон Дюк» от итальянского «Рома». Да, да, мы знали не только осанку элегантных лайнеров «Ллойд Триестино» или лайнеров, приписанных к марсельскому порту, но часто и дальнейшие судьбы кораблей.

Мне посчастливилось: я был на Приморском бульваре с его широкой знаменитой лестницей в минуты, когда под пушечные выстрелы салюта в порт медленно входили боевые корабли дружественной державы под флагом вице-адмирала. Перед этим отряд кораблей был с визитом наций у севастопольцев — и вот на причалах Одессы та же знакомая картина: толпы радостных людей, школьники с цветами, быстрые улыбки девушек-щеголих, сдержанная приветливость молодцеватых матросов, заводящих концы.

Будто то же самое — но не совсем: два города — Севастополь и Одесса — оба на берегах Черного моря, почти ровесники, но

какие же это разные города по духу, по характеру! Оба достойно выдержали испытания войны, оба стали городами-героями, и все-таки по-разному переживали военные испытания Одесса и Севастополь. Думаю, мне позволительно говорить об этом и признаваться, что мне особенно трудно было примечать в родном городе власть бога войны — я привык видеть здесь других — веселых и беспечных богов. Вероятно, также трудно сыну увидеть в своей матери женщину-героиню — он помнит ее простой милой мамой, заваривающей чай.

Должно быть, недаром с легкой руки Пушкина — и легкой и желанно-наставнической — так охотно описывают наш город. Почему бы это? Не потому ли, что несмотря на звонки трамваев и летучий шелест троллейбусов, многолюдность, летний жар асфальта, — на этих улицах всегда чувствуется обаяние природы Черноморья, порта, открытого всем флагам. Повеет морским ветерком вперемешку с запахами нагретого солнцем асфальта, даже пахнет откуда-то зреющими помидорами, и снова веселый говор, смех, нарядные моряки и девушки в модных лакированных плосконосых туфельках, в модных прическах торопятся в оперу… А вот донесся вой болельщиков с прекрасного стадиона, расположенного, как древний театр Эллады, близ самого моря.

Вот и росли мы в этом большом красивом городе с улицами-аллеями, в городе, издавна прославленном своею любовью к хорошей архитектуре, музыке и поэзии, юмору и жизнерадостности. И близость к морю, к степи, к солнцу, к судьбам всего мира воспитывала нас не меньше родительских наставлений и книг, открывала наши души для всего красивого и доброго.

Запомним: нас воспитала счастливая наследственность в сочетании с драматизмом революционной эпохи. Достаточно вспомнить, что за время гражданской войны и интервенции на наших глазах власть менялась восемнадцать раз, но это только укрепляло в нас чувство ответственности за общие судьбы революции. В этом я вижу первопричину удивительного явления.

Как хотите, а все-таки это удивительно: Эдуард Багрицкий, Исаак Бабель, Илья Ильф с его неизменным другом Евгением

Петровым, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Константин Паустовский, который всегда охотно относил себя к этой ветви, Лев Славин, Семен Кирсанов, Семен Гехт, Вера Инбер, Семен Липкин, Зинаида Шишова, Маргарита Алигер, Аделина Адалис… Эти имена знает каждый читающий человек. И все они — имена наших близких товарищей, друзей, сверстников или просто свидетелей нашей общей славной молодости. А ведь к этим

наиболее и бесспорно известным именам легко прибавить вдвое больше писателей, поэтов, драматургов, музыкантов, актеров все той же ветви, по достоинству занявших свое место в литературе, театре и музыке. Разве это явление заурядное?

Сей дуб зеленеет для всех, для каждого, кто ищет красоту и утешение на любых берегах, у любого лукоморья. Скажите, на каком языке думают и говорят герои сказок? Звенья златой цепи позванивают на языке, общем для всех, помогая ученому коту говорить и петь. Ведь это счастье: знать чудодейственную силу поэзии, преемственность чувств и мыслей…

А вдруг не так? Когда я бываю здесь теперь, всякий раз чувствую, что что-то важное нарушено, не всегда заметно внимание к волшебной преемственности.

Не безразлично — появится ли вновь поэма, равноценная «Думе про Опанаса» именно там, где подготовлены для этого и культура стиха и верное чувство поэзии, где знавали высокие образцы. Не безразлично — будет ли книга новых «Одесских» рассказов нового автора достойна сопоставления с книгой Бабеля об экзотической Одессе.

В наши дни еще не прогуливались запросто по Дерибасовской гарпунеры китобойных флотилий, а все-таки было немало интересного.

Уже трудно найти свидетелей «литературной Одессы 20-х годов», участников бурных незабываемых чтений в аудиториях университета, в мастерских художников, в опустошенных квартирах, принадлежавших сбежавшим богачам. Ищу и не нахожу участников безудержных поэтических бдений, прогулок на рассвете с чтением стихов — через весь город из клуба железнодорожников на Молдаванке, где вокруг старшего товарища Эдуарда Багрицкого группировалась демократическая молодежь кружка «Потоки»… А хотите — расскажу о том, что было еще до «Потоков»? Было немало любопытного. Вот, например, история о том, как в «Мебосе» (кафе «Меблированный остров») инсценировалась драматическая поэма Багрицкого «Харчевня». Поэма теперь утеряна, и восстановить ее не удается. Тем более кстати о ней вспомнить.

Содержание поэмы таково. Старая Англия. В придорожной харчевне останавливаются двое проезжих. Молодые люди требовательны и надменны. Престарелый хозяин старается им угодить. Из диалога проезжих выясняется, что они спешат в Лондон на соревнование поэтов. Они читают друг другу свои стихи, когда вдруг из-за стойки раздается голос трактирщика.

— Стихи нехороши!

Поэты недоуменно оборачиваются на возглас.

— Стихи нехороши, — повторяет трактирщик и со знанием дела объясняет, почему стихи нехороши. Проезжие заинтересованы, прислушиваются к странному трактирщику, а тот с такою же убедительностью читает им стихотворение «Ода бифштексу». Вот как, вот о чем надо писать.

Превосходно!

Стихи трактирщика побеждают. И тут, присматриваясь к нему, гости узнают в трактирщике когда-то популярного поэта, удалившегося на покой. Молодые поэты восторженно приветствуют его, убеждают ехать вместе с ними: его ждут друзья, прежняя слава. Но поэт, записывающий свои стихи в счетную книгу рядом с расходами, ехать отказывается: здесь, у очага трактира, он успокоился. Здесь его место, и он не променяет закопченные стены харчевни на суетный Лондон.

Рожок дилижанса — и гости с сожалением прощаются с поэтом-трактирщиком.

Для большей живости к поэме присочинили несколько песенок. Девушки притащили шарфы, трости, шляпы.

Хозяина харчевни изображал сам Багрицкий, проезжих поэтов — хмурый Лева Славин и застенчивый Илья Файнзиль-берг — Ильф. Всем раскрасили носы, Багрицкому приклеили седые бакенбарды. За столиками между посетителями «Мебоса», людьми привыкшими к шалостям муз, расселись солдаты, извозчики, девушки, почтальоны. Ужин, отпускавшийся предпринимателем «Мебоса» автору и исполнителям инсценировки, зарабатывался добросовестно. Всегда готовый к какой-нибудь выходке, Багрицкий на этот раз держался солидно. Войдя в роль, он воодушевленно читал стихи поэмы. Вот наступил момент его реплики.

— Стихи нехороши! — строго начинает престарелый поэт, поднимая склоненную к стойке голову, и к концу его стихотворного монолога симпатия аудитории на его стороне, на стороне поэта, избравшего своим уделом харчевню, наполненную простым людом.

Гости уже уехали, хозяин харчевни, проводив их, снова склонился над стойкой…

Эдуард хорошо сыграл свою роль.

Среди публики за столиком в углу сидела молодая стриженая женщина с милым веселым лицом. Она пытливо, очень заинтересованно, хотя и несколько недоуменно, наблюдала через пенсне за несложными событиями инсценировки, внимательно рассматривала престарелого поэта-трактирщика. Это была Лида Суок — жена Эдуарда. Он только недавно женился, и многие из

нас в первый раз видели Лидию Густавовну.

В тот же вечер я, Ильф, Славин, девушки из Лермонтовского переулка — золотисто-рыжая попрыгунья Леночка, при встрече с которой мне всегда становилось радостно и тревожно, и ее немного тяжеловатая медлительная подружка Тая, брюнетка с красивым и умным лицом, отлично читавшая стихи мягким сильным голосом, — все мы, счастливые статисты, в тот же вечер за горячим ужином — котлетка и сколько угодно перловой каши — познакомились, наконец, с Лидочкой Багрицкой, старшей из трех сестер Суок, и на следующий же день навестили молодую семью: к этому времени у них появился сын Севка.

Ведь это именно Леночке Голованевской хотелось, чтобы я написал о ней так же восхищенно, как я писал о железобетоне. Она, кажется, не догадывалась тогда, что к железобетону я сбежал от нее же.

Теперь нет уже ни Леночки Голованевской, радовавшей нас, как Мюзетта, ни Таи Лишиной. Недавно в 5-й книге «Прометея» посмертно был опубликован интереснейший отрывок из ее воспоминаний — «Так начинают жить стихом»… Фрагмент сопровождался коротким памятным словом (Всеволод Азаров, Ираклий Андроников, Сергей Бондарин, Даниил Гранин, Александр Розен) — в нем сказано об авторе: «Не часто встречаешь в жизни людей, которые так преданно и так вдохновенно любят и понимают литературу, как любила и понимала ее Тая Григорьевна Лишина. Тая Григорьевна обладала «абсолютным слухом» по отношению к поэзии, к слову. Общение с ней, вся ее личность — безошибочный вкус, ум, широчайшая культура, высокое благородство, беспредельная скромность в сочетании с редкой властной способностью утверждать в тебе веру в твои собственные возможности — как это было важно для нас, как много!..»

Все верно!

«…Как это было важно для нас, как много».

Дружба эта была для меня из тех, что помогает чувствовать и размышлять, как лучшая книга.

Еще неизданная книга воспоминаний Лишиной, кстати сказать, рассказывает как раз о той же поре, о которой я говорю сейчас — о тех же радостях, о тех же людях.

И вот нет уже ни Таи Лишиной, ни Леночки Голованевской, недавно не стало Лидии Густавовны Багрицкой, а между тем семью эту забыть невозможно. Я уверен, что к истории этой семьи не раз обратятся и биографы, и романисты, и поэты.

Несколько о семье Эдуарда Багрицкого, которую мы называли святое семейство, и о нем самом — известном птицелове.

С этого и начну, с эпизода, хорошо рассказывающего, каким был Эдуард в молодости.

Охотники и птицеловы сходятся быстро.

Среди стихов Берхарна и Артура Рембо, переводов из Тика и Бернса молодой, жизнелюбивый, немножко угрюмый певец народного героя Уленшпигеля Эдуард Багрицкий рассказал мне однажды забавную историю.

Но знаете ли вы, что значит править казенку? Знаете ли, что такое «казенка»?

Апрель в южном приморском городе. Представляете ли вы себе, что это такое? И вот с пачкой книг и тетрадей, туго стянутых ремешком, вы выходите на крыльцо, во двор, за ворота — и на улицу. Вы вдохнули воздух апреля… Не так уж легко и просто подавить в душе волнение, когда в садах и парках одуряюще пахнет сырая земля, ясное небо озаряет светом любви весь мир — все прошлое и все будущее. А голоса ручьев? А птичий гомон! Будьте же снисходительны!

И вот пачка книг уже подвязана к ременному поясу, фуражка легким толчком сдвинута на затылок, и вы вдруг зашагали к старому Александровскому парку, аллеи которого проложены вдоль самого обрыва к берегу моря, — заветное местечко всех казноправов.

Вы уже видите на аллеях среди мокрых кустов отдельные фигурки. В походке, в каждом жесте этих человечков вы угадываете то же самое состояние, которое охватывает вас, — и восторг, и опасливость.

Эдуард всегда предпочитал одиночество. Я хорошо его понимаю. Трудно дело птицелова. Он раскидывает среди кустов силки, а сам притаился. Искусный свист послышался в тишине парка. В этом деле Эдуард был большим мастером. Уже одним этим искусством подсвистывать птицам Эдуард властно утверждал права на свои вольные, чистые, строгие заимствования из Бернса, на свое подражание фламандскому герою Уленшпигелю. Уже тогда, с гимназическими бляхами на ременных поясах, мы признали в этом несколько сутуловатом, сосредоточенном юноше с напускной угрюмостью не только стихотворца, но и лучшего среди нас птицелова.

И на этот раз — вот уже ответила ему еще невидимая самка. И радостно и вопрошающе-удивленно прозвучал птичий голосок. В ответ повторился призыв — нежно и уверенно. Разговор завязался. Вот она! Что-то порхнуло, голосок птички уже где-то здесь, среди кустов. Ловец слегка приподнимает голову и видит

— вот она, вот! По сырой земле, среди прошлогодней листвы и побегов свежей травки, легко, грациозно, захватывая у ловца дух, попрыгивает крупная малиновка, поводит глазком. И вдруг шум в кустах, кусты раздвигаются, и беспощадно-грубо на самую полянку, озаренную апрельским солнышком, из кустов выступает фигура…

Преступление — наказание! Так уж и повелось: в классические дни казенки классные надзиратели шныряли по заветным местам. Так уж устроено под безмятежным небом!

Наставник еще не видел искуснейшего ловца, присутствия которого не подозревала даже малиновка. Но он шел прямо на нее, на восхитительную птичку, уже приостановившуюся и поднявшую головку. Еще шаг — и все пропало.

— Александр Васильевич! — не своим голосом закричал Багрицкий. — Что вы делаете! Малиновка!

Александр Васильевич остановился, осматриваясь. Птичка вспорхнула…

Кем был в эту минуту подросток — птицеловом, поэтом или нарушителем?

Значительно позже мне посчастливилось стать свидетелем сцены, завершающей эпизод из юности поэта.

Знакомых и друзей у Эдуарда Георгиевича встречалось немало. Паустовский тоже рассказывает о том, что чуть ли не каждый встречный на улицах Одессы был приятелем Багрицкого. Еще одна встреча — и я терпеливо ждал. На этот раз почтительный собеседник Эдуарда Георгиевича был уже пожилым человеком, с ним мальчик — лет десяти. В серых глазах Эдуарда, под длинной непокорной прядью я видел добродушную усмешку. Дяденька все норовил выдвинуть вперед мальчика, как оказалось, своего сынишку. У пожилого человека даже зарделись щеки. Отец положил руку на плечо ребенка, другой рукою слегка приподнял детское лицо. Простодушные глаза мальчика смотрели в серые, с ласковой усмешкой глаза Багрицкого. Отец сказал:

— Петя, запомни это знакомство. Запомни этого человека: это — поэт.

Отойдя несколько шагов, Эдуард проговорил своим хрипловатым астматическим баском:

— Шкраб. Мой гимназический надзиратель. Александр Васильевич, но не Суворов, — Рожкин. Вот послушай, случилась у нас с ним одна забавная история…

И Багрицкий рассказал мне происшествие на полянке.

Теперь можно представить себе, какое впечатление произвела

на нас весть о том, что Багрицкий женился и до какой степени неожиданно и любопытно было появление у Багрицкого сына.

То, что мы увидели и узнали, и в самом деле мало походило на семейный образ жизни, на то, что случалось нам видеть до сих пор.

Я помню то особенное чувство, с каким я в первый раз подошел к младенцу… Удивительное тогда случилось происшествие! Это был первый и единственный случай, когда сын Эдуарда Георгиевича и Лидии Густавовны, Севка, внезапно попал как бы в счастливую сказку Андерсена.

Молодая семья — и скажем это без обиняков — по причине бедности кочевала с квартиры на квартиру. В какой-то особенно трудный момент она устроилась на антресолях в обширной коммунальной квартире. Антресоли помещались над ванной и уборной, и высокие окна были общие, благодаря чему в ванной хорошо было слышно, что делается на антресолях. И произошло вот что. Эдуард и Лида должны были одновременно уйти, младенец оставался, жильцы квартиры, бездетные супруги, вдруг услышали на антресолях плач ребенка, поднялись туда. Все, казалось, подтверждало, что перед ними подброшенное дитя: младенец лежал в корзине, никакой другой обстановки на антресолях не было. Не теряя ни минуты, бездетные супруги вынули младенца из соломы в корзине и унесли к себе. Когда мать вернулась и, встревоженная, наконец разыскала сына в одной из комнат квартиры, она не поверила своим глазам: младенец лежал на роскошной кровати, весь в пене кружев.

Лида даже испугалась, на минутку вообразив, что у нее хотят отнять ребенка. Но недоразумение разъяснилось, и соседям пришлось расстаться со своим коротким счастьем. Растревоженная мать успокоилась, тем более что Севку вернули ей в сказочном кружевном наряде. Но и это длилось недолго. Отец с непреклонной суровостью сказал:

— Немедленно все снять!

— Но почему же, смотри, Эдя, какой он стал хорошенький!

— Все снять немедленно и — на барахолку: ребенок не тех кровей.

И нужно сказать, больше никогда в жизни Сева Багрицкий не ходил в кружевах.

Думаю, простительно сделать это признание. Семья, которую друзья окрестили «святым семейством», не всегда бывала сыта. Случалось! Что поделаешь — случалось так! Случалось у многих. Но вот иное случалось не со всяким: с младенческих лет Сева слышал вокруг себя музыку поэзии, щебетанье птиц, голос отца, читающего стихи. Так повелось в «святом семействе» — и да

будет это, как можно чаще, всюду, во всех семьях.

Люди спорили, но спор шел без ожесточения — спокойно, любовно, со знанием дела — о рыбах, о птицах, о стихах, о поэтах, о дальних странствиях на кораблях или на верблюдах, рассуждали о преимуществах продналога перед продразверсткой, радовались тому, что на базарных лотках стало больше рыбы, а по талону удалось получить подсолнечное масло. И это счастливое сочетание мило-невзыскательных житейских забот со взыскательным духом поэзии навсегда осталось главным в интересах семьи.

Севка рос. Уже давно он вышел из корзины. Никто не удивлялся, если позже — в Москве — за калиткой кунцевского дворика, занесенного снегом, он встречал шустрого бесстрашного Севку — босым или без шапки. Не удивлялся никто, если во время чтения стихов вдруг к нашим голосам присоединялся голосок Севки. А тут звучали голоса Сельвинского и Луговского, мягкие интонации Светлова, ясный молодой тенор Коли Дементьева. Удивительней было услышать еще позже, как нам тогда казалось, по прошествии многих лет, что Сева Багрицкий учится хорошо, еще год, два — и Сева кончит школу.

Эдуарда к этому времени уже Не стало. Лидия Густавовна и Сева продолжали жить в знакомой квартире, в «доме писателей», на Камергерском переулке, к тому времени переименованном в проезд МХАТа. В просторной солнечной комнате по-прежнему стояли аквариумы, над тахтой висел все тот же дворницкий коврик. Чайник вносила все та же ворчливая домработница Маша. С улыбкой вспоминали мы, как, добродушно поглядывая из-под чуба на Машу, не совсем опрятно жующую, Эдуард назидательно сказал:

— Маша, ешьте брынзу внутрь!

Так вот, Эдуарда Георгиевича уже не было…

Потом, когда уже вышел посмертный том стихотворений Багрицкого, уже вышла книга воспоминаний о нем, мы услышали о том, что у Севы не стало и матери. Лидию Густавовну арестовали — произошла тяжелая ошибка…

В квартире па шестом этаже остался один Сева.

Не стало рыбок. Не стало в комнате фантастического хрустального свечения аквариумов, озаряемых изнутри, но по-прежнему на коврике висела любимая фотография Эдуарда Георгпевича: в просторной рубахе с расстегнутым воротником, сложив на столе руки, сидит перед микроскопом несколько одутловатый, вдумчивый, спокойный человек с начесанной на лоб шевелюрой, на стене — ягдташ и охотничье ружье.

Сева из своей комнаты перетащился сюда, в комнату отца, по которой из угла в угол летал прирученный снегирь Федя.

Как жил Сева? Как он там жил, в опустевшей комнате, где все напоминало иную жизнь.

Вот тут и приходит на помощь маленькая книжечка под красной обложкой. Более чем через двадцать лет после смерти Багрицкого-младшего, его мать, Лидия Густавовна, и друг детства и юности Севы, Елена Георгиевна Боннэр, Люся, издали книжечку, составленную из стихотворений молодого поэта, из писем и страниц дневника. Вот заимствованное оттуда письмо тети Маши к Лидии Густавовне, о том, как они живут с Севой. Письмо написано рукою Севы под диктовку старенькой Маши:

> «Здравствуй, дорогая, милая Лидия Густавовна!.. Долго ли мне с Севушкой пожить? Здоровье у меня очень слабое. Для него стираю, мою, ушиваю и собираю ему кое-что поесть… Купила ему уже трое ботиночек и три рубашки. Ваши-то он все износил, а некоторые раздал своим друзьям… Осенью Сева стал скучать и от скуки было женился, но скоро развелся… А наша законная невеста Люся живет в Ленинграде…»

Боже мой! Вот как, оказывается, жил в ту пору Севка! Вот что уже успело с ним произойти. Значит, подросток не только писал стихи, сдавал физику, анатомию, немецкий, бегал по разным студиям и литературным консультациям, юноша не только читал «Гамлета» — в восемнадцать лет он уже успел жениться. Не рано ли? Маша пишет: «От скуки». Но, листая странички Севкиного дневника, ясно чувствуешь не только то, как рос и мужал пытливый мальчик, как он озирался вокруг себя и вслушивался в себя самого.

«Не страшна беда — страшны беденята», — говорит народ, но тут беда была страшная, и в эти ворота могло войти все, что угодно для гибели молодой души. И вот тут-то можно сказать главное: одинокого подростка и юношу охраняли, видимо, те добрые светлые силы, с которыми дружил еще его отец. Ясно видно, что Всеволод упорно овладевал тем, что и хотелось отцу оставить ему в наследство:

> Вставай же, Всеволод,
> И всем володай!

Он был одинокий, но мужественный юноша, бескорыстный и трогательный. В одном из писем матери он горячо говорит: нет, я

не буду, не смею злоупотреблять именем отца, не стану жить на его деньги. Чуть ли не на каждой странице чувствуется наивно-горделивое удовлетворение от того, что он работает. Юношу начинает занимать философия. И тут же нескрываемая радость: «…через четыре дня иду брать у портного свой первый костюм… Костюм купили Олеши… Цвета беж. Плечи — во!»

Трогательная, иногда смешная детская наивность смотрит со всех страниц. И вот так же наивно, но вместе с тем и душевно чисто объяснение самого Севы с матерью по поводу женитьбы:

«Пока мы работали над первым актом нашей «Дуэли», я успел влюбиться в одну больную девушку (у нее порок сердца) и, поборов сопротивление ее родных, жениться на ней. Прожили мы вместе месяц и поняли, что так, очевидно, продолжаться не может. Семейная жизнь не удалась… Моей женой была Марина Владимировна Филатова, очень хорошая девушка…»

Неудачливые супруги остались друзьями.

Нет, история этого, может быть, и легкомысленного брака все-таки не похожа на беспечное, эротическое приключение. Все те же добрые силы берегут юношу. И даже немножко странно полное отсутствие признаков богемных склонностей, извращенности в жизни молодого человека из артистической среды. Опасность была весьма реальная.

Вот что думается по этому поводу. Вместе с прирожденными наследственными жизнелюбием и жизнестойкостью юноше была присуща чуткость к жизни — ко всему серьезно-увлекательному, поразительному, чего немало было в те годы, заявляло о себе вопреки поборникам зла. Была чуткость ко всему тому, что с революционной неудержимостью наглядно преобразовывало умы и души, города и села.

Сева Багрицкий любил романтику своей страны, любил революцию, не мог не верить в ее добрые силы. Мать, нужно сказать» издалека продолжала следить за ним и поддерживать в сыне эту светлую веру. И Всеволод со своей стороны писал матери: «Мамочка, работай честно… вернешься — мы заживем как никогда».

Право, мне кажется, не так уж существенно утверждать Всеволода Багрицкого как поэта, — именно потому, что несомненное увлечение то поэзией, то философией, то театром, а то и живописью. Я не стану приводить здесь стихи Всеволода Багрицкого. Еще мало в них художественной законченности, цельности, слишком явны интонации отцовских стихов, поэзии Багрицкого-отца. В маленькой книжке под ярко-пунцовой обложкой другая прелесть, не меньшая, чем прелесть мастерских стихов иного зрелого поэта, — в ней есть прелесть и очарование

поэзии молодой, удивленной и стремительной жизни. В ней есть и лирика и драма эпохи. Книжечка приоткрывает нам страницы истории незаурядной советской семьи, в истории этой можно найти все необходимое и достаточное для романа, есть в книжечке образ молодого человека конца тридцатых годов — начала сороковых, молодого человека нашей страны в канун Великой Отечественной войны.

О том, как наши юноши шли на войну, уже написаны хорошие книги. Кстати сказать, один из героев повести Василия Рослякова «Один из нас», по признанию самого автора, — не кто иной, как Сева Багрицкий. Я помню, какое впечатление произвело на Василия Петровича Рослякова мое замечание, что я знал Севу Багрицкого еще мальчиком. Оказалось, что Сева учился с Росляковым в Литературном институте. Но еще большее впечатление произвело на меня самого неожиданное признание моего собеседника:

— Да ведь мы тогда смотрели на Всеволода Багрицкого снизу вверх, смотрели, как на своего метра…

Вот каким, оказывается, был Сева Багрицкий!

В первые месяцы войны Сева начал добиваться того, чтобы его, освобожденного от воинской повинности из-за плохого зрения, взяли в армию. Он нетерпеливо ожидал ответа на свои заявления, эта весть долго не приходила к нему. Вместе с семьями писателей он должен был уехать на Каму, в Чистополь. Там же была моя семья. Мне и сейчас рассказывают, как трудно жилось там Севе, труднее, чем другим. Трудно, но все-таки — рослый и большеногий — он был всегда прибран, чист, аккуратен. Из-под зимней двубортной куртки-москвички всегда выглядывали чистые воротнички. В моей семье помнят радость многих молодых и пожилых мужчин, когда уже поздней зимою в Чистополь, наконец, пришло извещение о мобилизации группы поэтов и писателей. Сева твердо решил идти вместе с другими.

В зимнюю декабрьскую ночь группа вызываемых военкоматом — тут были Михаил Зенкович, Павел Далецкий, Павел Шубин, Семен Гехт, Владимир Бугаевский, Арсений Тарковский, всего двенадцать (они так и называли себя по Блоку «Двенадцать апостолов») двинулась за розвальнями, на которые была сложена поклажа, из Чистополя в Казань. С этой группой пошел и Сева Багрицкий, самый юный из апостолов.

Это было в канун нового года. Мороз сорок градусов.

А через два месяца Всеволод Багрицкий был убит на фронте при исполнении своих обязанностей военного журналиста.

«…27 февраля привезли мертвого нашего сотрудника… Очень славный, неиспорченный паренек», — писала с фронта

сотрудница редакции газеты «Отвага», куда был зачислен техник-интендант Сева Багрицкий.

В этой же редакции работал художником впоследствии прославленный скульптор Вучетич. Над могилой убитого он вырезал надпись на сосне:

ВОИН-ПОЭТ ВСЕВОЛОД БАГРИЦКИЙ
убит 26 февраля 1942 года.

Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С любимой моей земли…

Эти строки Марины Цветаевой Сева очень любил и часто их читал.

А я, читая об этом в Севиной книжке, вижу неизменно белый покров снега, темные сосны Волховской стороны — и на снегу неподвижное тело рослого Севы, ставшего маленьким в этом могучем пейзаже Севера. Убитого вынесли на снег из разрушенной взрывом избы. Это был тот самый Сева Багрицкий, которого когда-то его отец усыплял в колыбели-корзине ритмичным чтением стихов. Когда-то малышом — в первый и в последний раз в жизни — лежал маленький Севка, раскинувшись среди белоснежных кружев, в чужой постели, как маленький герой сказки Андерсена… А теперь вокруг убитого расстилались снега.

Воистину незабываемы слова одной из последних дневниковых записей Багрицкого-сына: «Мне девятнадцать лет. Сейчас вечер. Очень грустно и одиноко. Увижу ли я когда-нибудь свою маму? Бедная женщина, она так и не узнала счастья. А отец, который для меня уже не папа, а литературная фигура? Какая страшная судьба у нашей маленькой семьи! Я б хотел, чтоб мы вновь встретились, живые и мертвые».

Запись эта сделана 16 февраля в траурно-памятный день смерти отца.

И вот, если хотите, встреча состоялась.

Все-таки и я был по-своему счастлив, когда недавно Лидия Густавовна, Севина мама, сказала мне по телефону:

— Приходите, получена Севина книжка.

Через книгу — одно из лучших чудес света — сообщено нам об этой жизни и смерти, о времени, о судьбах — и это заставляет нас задуматься и горестно и светло. Вот какая в ней сила, в этой маленькой книжечке под ярко-пунцовой обложкой!

Вернемся, однако, к тому, на чем прервалось путешествие по Одессе.

Разумеется, для меня всегда путешествие это особенное — и любопытно, и грустно. Немного осталось людей, живо откликающихся на прошлое, еще меньше прямых участников и свидетелей, но кое-кто еще ждет меня для этих бесед — и первый среди них — милый соучастник молодости, уже тогда любивший изображать из себя старого морского волка, покладистый Саша Батров, неизменный маринист одесского литературного клана. Теперь он уже и сам стал особой достопримечательностью города — близорукий и добрый Саша Батров со своею непременной трубкой в зубах.

Все это так, и все же мне посчастливилось свести здесь дружбу с юным поколением людей, беззаветно и страстно преданных литературному прошлому Одессы. Эта молодежь даже не участвует в заседаниях признанных любителей одесской старины, собирающихся в Доме ученых. Кружок любителей с курьезным прозвищем «одессики». Но неожиданность нового знакомства тем более приятна и радостна. Не лишенные благородной иронии, молодые люди отзываются о своей компании, как о «лиге лоботрясов», но необыкновенно приятно видеть, с каким усердием, тщательностью, вкусом и пониманием молодой «лоботряс» инженер Сережа Калмыков собирает все, что хоть отчасти восстанавливает полузабытое прошлое. Ему не уступают ни его брат Юрий, ни Георгий Гергая, хотя эти оба, окончив институт инженеров морского флота, сначала оставили берега Черного моря для берегов Тихого океана, а теперь, вернувшись, находят время для неизменного участия в прославленном одесском клубе веселых и находчивых.

Все это очень интересно. Возможно, среди них был бы и Сева Багрицкий. Он был бы среди них самым старшим и самым уважаемым. Да, да, Сева Багрицкий непременно был бы либо с ними, либо с молодыми людьми Новосибирского академического городка, он непременно был бы там, где молодые люди нашей страны умеют сочетать любознательность с романтикой, веселье с трудолюбием.

В этом убедиться приятно. Больше того: я видел, как при моем рассказе о находках «молодых лоботрясов» разгорелись глаза у Натальи Кузьминишны Островской, скромно-восторженной женщины, заведующей Пушкинским домом музеем, до чертиков преданной своему делу. Вольный союз соискателей исторической и краеведческой истин может принести немало радостей.

Дорогие друзья! Вы не одиноки: здесь жил Пушкин!

По следам старших братьев идет много молодых людей — и смолян, и саратовцев, и ростовчан, гордящихся тем, что их города дали немало славных имен. А как-то в газетной статье «География культуры» я прочитал: «В Магнитогорске нет кансерватории, и тем не менее мы смело можем прозвать этот прославленный город металлургов музыкальным… Это рожденная усилиями живущих здесь культурных людей атмосфера интеллигентности».

Все это не может не радовать каждого, кто любит свой город, страну, народ… Да здравствуют филателисты, экслибристы, краеведы и всяческие другие чудаки-энтузиасты, повседневные художники жизни!

Расскажу вам еще одну забавную историю.

Ко мне в номер гостиницы постучались и вошли две девочки, милые девочки с торчащими белыми бантиками в косичках. Вера и Зина оказались школьницами. К счастью, у меня к чаю было пирожное, но они от угощения отказались.

— Вы лучше, пожалуйста, напишите нам что-нибудь о Багрицком или о его сыне Севе.

— Как написать? Куда?

— В наш журнал. Мы знаем «Смерть пионерки», но может есть еще и другие стихи, посвященные сыну Севе? Расскажите, как они жили.

Я побывал в школе, а школьникам, по их просьбе, решил показать те дома, «в которых жил Багрицкий». И вот мы пришли к дому, на мой взгляд, очень примечательному. Переулок в центре города когда-то назывался Ново-Базарный. Ветхий дом в неприкосновенном виде сохранился до сих пор: деревянные галереи без стекол, шаткие лестницы, узкие двери маленьких квартир. В одной из них под самой крышей в 1924 году жили Багрицкие. Переднюю нежилую комнату часто поливал дождь, проникающий с чердака, и мы, приходя в гости к Эдуарду, кричали: «Эй, там, на перевозе», — выходила Лида и перебрасывала доску, мы проходили в комнату.

Все вспомнилось, когда я привел сюда школьников.

В «итальянском» дворике женщина качала воду у колодца. Мы поднялись по шаткой лестнице на ветхую веранду. Испуганная старуха выглянула из-за занавесок. Наконец, нам открыли, впустили, хотя так и не поняли, кто мы и зачем пришли. «Какой Багрицкий? Говорите, ваш родственник?» — Хозяин стоял в дверях, следя за каждым нашим движением. Я не удержался и вдруг шагнул за порог той комнаты, где привык видеть лужу и сырые стены. Хозяин воскликнул:

— Ой, ковры!

И я тут понял причину испуганного возгласа. Не только полы, но и стены были покрыты дорогими коврами. И эта и другая комната, посреди которой когда-то стояла корзина, служившая люлькой, обе комнаты были заполнены роскошной мебелью и заморскими безделушками. Когда мы повернули обратно, из побуждений вежливости я сказал хозяину:

— Спасибо, и напрасно вы беспокоились: ботинки у нас чистые… А вы, наверное, работали в Торгфлоте?

Хозяин обиженно возразил:

— Почему в Торгфлоте? Я работал в торгсети.

Клянусь, это не анекдот, а случай из жизни, как любил говорить наш земляк Бабель. Кстати сказать, он тоже не раз бывал в квартирке под крышей, как позже — в Лермонтовском переулке в подвале, а потом на Дальницкой. Как весело и широко улыбнулся бы Бабель из-под очков, узнав про этот случай из жизни.

Вот как жил Багрицкий, впоследствии написавший и «Смерть пионерки», и другие стихи, посвященные сыну. На карту «Литературной Одессы двадцатых годов», составленную братьями Калмыковыми, заверенную «юрисконсультом» студенткой юридического факультета, их сообщницей, несомненно будет нанесен и дом на Ришельевской, где Бабель писал свои книги, и дом, где Багрицкий родился и на стенах которого, приятно это сказать, уже прикреплена мемориальная доска, и другой дом — в Ново-Базарном переулке, и многие другие дома, дома и клубы, в которых когда-то впервые зажглась «Зеленая лампа», а позже собирался коллектив поэтов, потоковцы и юго-лефовцы…

Теперь мы знаем силу жизни и силу слова, и мы хотели бы без помех и без потерь передать свои знания другим!

Мечты и думы эти не давали мне покоя ночью, после того как я слышал чтение стихов Багрицкого на митинге, состоявшемся в старом доме в юбилей поэта, где в семье одесского лавочника родился славный поэт, а потом — после митинга — я совершал прогулку с молодежью в Ново Базарный переулок… И вдруг захотелось увидеть ночную Одессу…

Было все, чего хотела в эти часы душа: шумели платаны у дома, где жил Пушкин, над темным морем стояло зарево огней, живыми золотящимися цепями опутывающих порт, и в фантастическом зареве блуждали еще более яркие лучи. Это, должно быть, военные моряки дружественной державы лучами прожекторов приветствовали наш город. Но разве только им, морякам голубой Адриатики или морякам, приплывшим сюда от

эпических берегов Малой Азии, Египта, разве только им суждено быть очарованными этим городом, раскинувшимся, как говорится в сказке, у лукоморья? Думаю, всякого порадует эта встреча» а что уж говорить о тех, кому с детства посчастливилось слышать золотой звон волшебной цепи.

Кораблик Паустовского

В молодости мы увлекались знаменитыми морскими сражениями.

Как-то вновь заговорили о грандиозном Ютландском бое времен первой империалистической дойны и вспомнили при этом один примечательный, весьма любопытный и, как ни странно здесь сказать очень трогательный эпизод.

Артиллерийский бой двух могущественнейших флотов мира — Великобритании и Германии, — решавший судьбу войны, шел на больших дистанциях, доступных только главным калибрам артиллерии.

На западе долго погасала июньская северная заря, и поэтому в той стороне, несмотря на мглу дымов, еще хорошо очерчивались стройные силуэты британских дредноутов, шедших под флагом адмирала Джеллико.

Немецкие эскадры старались сохранить более выгодную позицию. Их энергичный командующий, адмирал Шеер, маневрировал, держась к востоку от Джеллико — здесь видимость его кораблей терялась в наплывающих туманах.

Но так или иначе весь горизонт — и на востоке, и на западе — вздрагивал в молниях пушечных залпов. И повсюду, то тут, то там вдруг взбрасывались гигантские фонтаны — всплески недолетов двенадцати- и четырнадцатидюймовых снарядов. И вот тогда-то внезапно со сражающихся кораблей заметили жалкую скорлупу какого-то парусного суденышка; время от времени захлестываемое брызгами зловещих фонтанов, рыбачье суденышко из всех сил старалось держаться на своем курсе под перекрестным огнем двух империалистических флотов.

Эпизод этот включен в официальный отчет Британского адмиралтейства о Ютландском сражении.

В разговоре Паустовский заметил:

— Кораблик попал в историю не напрасно!

Собирая морщинки у глаз — уже тогда у Константина Георгиевича была эта особенность внимательного и доброго собеседника, — он улыбнулся, помолчал, может быть, заново представляя себе картину грандиозного боя в океане и занесенное сюда суденышко, сказал:

— Удивительнейшая аллегория! И как хорошо, что эпизод включен в отчет адмиралтейства… Очень хочется, — и он опять улыбнулся, — чтобы и наш кораблик тоже был замечен с флагманских кораблей…

Мы понимали, о каком кораблике идет речь. Не смели мы

думать, что станем командирами линкоров, каждый из нас хотел быть хотя бы матросом на. кораблике, а потом, может, и на корабле.

Метафора, разумеется, выиграла бы в своей точности, если бы на флагштоках одной из сражающихся эскадр развивался флаг революции и такой же — на нашем корабле.

Прекрасное время творческих мечтаний молодости! Едва ли есть что-нибудь более бескорыстное, чем этот эгоизм…

Так вон, думается мне, что теперь уже можно спросить: исполнилось ли пожелание Константина Георгиевича, совпадающее с нашим?

Будем говорить о нем самом.

Библиографической статистике нетрудно подтвердить популярность книг Константина Паустовского, а тем самым — размах, глубину и пользу его духовного влияния. И это не может не радовать не только его друзей, но каждого интеллигентного человека: первейшая забота художника — учить свой народ чувствовать и думать, в трудно постижимых сплетениях жизни отличать добро от зла, утверждать художественный вкус и правду, именно ту правду, что создает душу народа, — именно такая забота всегда не давала покоя Паустовскому — от времен еще более ранних, чем появление его первой крупной книги — «Кара-Бугаз» — и до наших дней, до последних глав его обширной художественной автобиографии.

Упорный, радостный труд любимого писателя, больше всего желающего сохранить для людей прелесть, радость жизни, сочетался с художественной жизнью нашей страны, уже не может быть этой жизни без голоса Паустовского.

Неверно думать, будто только имена великих открывателей земель или тайн природы возбуждают волнующий романтический интерес. Издревле душа человеческая тянулась к высоким примерам жизни, и тут находя то, в чем она нуждается. Когда-то «жития» наших предков, печатное слово о них выходили далеко за пределы церковных или религиозных интересов. Так и в наши дни жизнь истинного художника, его речи, слова, поступки, жест — всегда на виду. И горе тому из причисляющих себя к художникам, кто не хочет этого знать.

Паустовский всегда помнил завет Пушкина о том, что слово поэта — это уже есть его дело. Но он знал также, что каждый день писателя должен быть делом художника. Это знание было в самой крови у Паустовского. И слава богу, что иным он быть не может! Слава богу, что мы всегда видим его именно таким: все нуждаются в радости любви к природе, в примерах достойной жизни, в чистоте детства и юности, в дружбе с Паустовским.

Вот так и начинает сочиться понемножку, течь и течь и потом растекаться неудержимо и щедро легенда о человеке, жившем среди нас, ломавшим наш общий хлеб.

Милый Константин Георгиевич! А ведь мы помнили тебя еще молодым журналистом.

В ту пору Паустовский еще не был автором общеизвестных книг. Только позже он, случалось, застенчиво вынимал из внутреннего кармана пиджака или из толстой «Лоции Черного моря» маленькую книжечку небольших экзотических рассказов, изданную в библиотеке «Огонек»: «Минетоза». «Минетоза» — так называлась первая, если не ошибаюсь, книжечка Константина Паустовского с его первым книжным портретом на обложке…

Еще и теперь помним его таким, каким выглядел наш старший товарищ на том портрете — молодого, склоненного над свежеотпечатанной полосой газеты в тихой, прокуренной редакции черноморского «Моряка».

Все мы помним то время страны, приступившей к веселой и нелегкой работе, и веселой, и грандиозной, как сражение дредноутов. Помним многих людей, впоследствии благодарно описанных Паустовским. Мы вместе слушали шум Черного моря, а позже — тишину Мещерских лесов…

Паустовский помог нам полюбить глубокий голос русской истории и радостное волнение мечтаний о будущем. И воспоминание о любой встрече с самим Паустовским, с любой его книгой всегда наполняет душу, не постесняюсь сказать, нежной благодарностью.

О значении Паустовского уже написаны книги на многих языках — и что же в этом удивительного! Всегда радостно думать и говорить о человеке, которому хочешь верить. А Паустовский не раз подтверждал, что ему верить можно, как он сам верил своей совести.

Но что же сказать о Паустовском прежде всего? Как сказать о нем короче всего и вернее всего? Думаю, вопрос не тщетный, если ты готов говорить о любви к самому Паустовскому, к художнику, всегда п прежде всего озабоченному художественным выражением собственной душевной верности народу и его интеллигенции.

Конечно, страшно смотреть на то, как легкий и храбрый кораблик идет под ветром между сражающимися эскадрами в море, потрясаемом пушками эпохи. И все-таки веришь: этот парус непременно должен был мелькать над океаном даже в разгар битвы, потому что он напоминает людям об истинных ценностях и целях жизни.

Паустовский был прав, когда воскликнул: «Не напрасно занесло сюда это суденышко». Вся картина боя была бы без него

беднее.

Есть морские обычаи, одинаковые для всех морей, широт и флотов. К ним принадлежит капитанский час — время, когда капитаны кораблей, находящихся в плавании в том или ином районе, вступают в переговоры между собой. Говорят обо всем: о минувшем шторме, о запасах топлива, о событиях на корабле, о своих семейных делах.

В дальних водах, у Курильских островов однажды случился капитанский час особого рода. Об этом и расскажу.

Накануне я спорил с моим приятелем. Он никак не соглашался со мною, что всему морскому не чужда романтика. Он ворчал:

— Какая тута (конечно, это он нарочно говорил так: тута), ну какая тута романтика. Романтика — это фантазерство, а море — реальность, и оно не любит фантазеров, разных там фантастов и фантомасов, море не любит чужих. Посуди сам: вот у рыбаков трал идет пустой, и пусть сейчас над ним летит чайка или пламенеет закат, все равно рыбак будет кусать локти. Это молодые едут за туманом, а нам, старикам, нужно семью поднять — не до романтики. Слезы? Слезы я видел. Я видел, как рыбаки плачут слезами, когда подымешь трал или невод, а он вдруг прорвался, и рыба вывалилась, а чтобы над книжкой плакали, ей-богу, я этого не видел. Ну, вот, правда, моего сына, Ваську, случалось, не оторвешь от книжки, уткнется, трет глаза пальцем.

Свою длинную тираду штурман вдруг прерывает, как говорится, на самом интересном месте, молчит.

Я спрашиваю:

— Так что же за книжка такая — интересно?

— Паустовского, — ответил штурман и вдруг задумался.

И что сказать, видимо, задумался не зря. Капитанский час — море разговаривает с берегом, корабль с кораблем… Но есть же и литературный час — это когда с сердцем разговаривает сердце.

Вот это п случилось.

Известие о его смерти пришло на судно по радио. Мы были далеко в океане. И как всегда — печально-осеняющая весть быстро разнеслась по судну, но я, чем-то занятый в своей каюте, еще не знал об этом, когда ко мне постучались.

За дверью стоял штурман-антиромантик.

— Один?

Уже в этом, обращенном ко мне вопросе было что-то неожиданное и тревожное. Штурман пристально посмотрел на меня:

— Еще не знаешь?

— Ну, в чем дело, говори!

— Умер Паустовский.

Штурман знал от меня, что Константину Георгиевичу плохо — он очень болен, знал он еще, что сын его читает книги Паустовского… Что еще мог знать о Паустовском этот моряк? Но он пришел ко мне с готовым предложением, одобренным капитаном: капитанский час сегодня будет отменен, вместо капитанского, если я согласен, будет объявлен час литературный, посвященный памяти Паустовского.

К вечеру мы подошли к Курильским островам. Вершины вулканов были в тумане, но кипящая пена прибоя у прибрежных скал была хорошо видна.

Здесь, у Курильских островов и состоялся литературный час на судне, населенном рыбаками и туристами, и эта встреча посвящалась Паустовскому.

Время объявили по судовой трансляции, а просторная каюта, обращенная в этот час к закату, уже заполнилась.

Право сказать прощальное слово над гробом товарища, старшего друга, печальное и тяжкое право. Легче душе, когда мысль о человеке, с которым расстаешься, ясна и свободна. Не надо было искать слова и мне о горестном значении утраты.

Легко было говорить о добре и доброте, о чести и мужестве, столь нужных, необходимых для нас. Как много он делал для защиты чести и справедливости, а «эстетика — это прежде всего честность».

Был с нами еще один человек, который тоже хотел сказать, что думает о Паустовском. Он хорошо сказал.

— Все мы, современники Паустовского, — сказал он, — стали свидетелями трагического и великого превращения. На наших глазах писатель перешел от своей короткой творческой жизни к жизни долговременной, присущей тем, кого принято помнить всегда. Над могилой Паустовского прибьют табличку с цифрами — датами его рождения и смерти. Между этими двумя знаками будет черточка. Вот эта черточка и заставляет нас задуматься. Она, а не цифры. Есть главное — есть жизнь, о которой мы говорим. В черточке, отметившей жизнь писателя и заключено: кем он был, кем будет.

А кем он был? Кем будет?

Паустовский был ласков к человеку. Это очень верно. Несомненно, доброта, ласковая рука водили им, то есть, хочу я сказать, доброта водила его рукой и ради этого он писал. Ему постоянно нужно было выражать душевную свою потребность в ласке и в добре, благодарность природе, самой жизни. Все трогало его, как ребенка. Он всегда сохранял это драгоценное

свойство и всегда старался продлить детство в других. Художник — он хотел научить других признать прелесть морей, рек и лесов, небо в полдень и на закате, звезду полей и успокоительную нежность женского лица и прикосновения, печаль осенней листвы, потому что осенняя печаль расширяет душу…

В последние годы мы встречались редко. И он при этих встречах казался мне каким-то иным, не таким, каким был прежде в годы узнавания.

Однажды он сказал:

— До сих пор я писал о том, как я жил. Теперь я хотел бы писать о том, как я хотел жить.

Уже не было для этого ни времени, ни сил.

А можно догадаться, что он хотел бы чаще видеть вокруг себя счастливых людей…

Так рассказали мы о Паустовском рыбакам и романтикам-туристам. Люди слушали внимательно, на глазах у женщины блеснули слезы, и что мне особенно приятно сказать — я видел, как мой приятель штурман искоса поглядывает на эти слезы — строго и смущенно.

Думаю, это хорошо, что в океане на корабле, населенном романтиками-туристами и рыбаками, следующими в районы своего промысла, далеко в океане состоялся литературный час, посвященный памяти Паустовского, и хорошо, что для него было отведено как раз то время, когда море разговаривает с землей, судно с судном.

«Будьте верны музе далеких странствий, — писал Паустовский, — и путешествуйте в меру своих сил и свободного времени. Потому что каждое путешествие — это проникновение в область значительного и прекрасного».

Мы разошлись, когда уже совсем стемнело и на горизонте резко светилась полоска зари. Неверно думать, что восходы и закаты одинаковы и у Курильских островов, и на опушке Мещерского леса. И этот закат был прекрасен, и я его никогда не забуду. Не забуду и ту чайку, которая белела за кормой судна, как нарочно. Нет, не только чайки, восходы и закаты составляют романтику неохватной нашей жизни. Меняется романтика, меняются люди, может быть, изменит свой взгляд и милый штурман…

Но почему, почему так много утрат?

Каждое путешествие — это проникновение в область прекрасного, — думалось мне, — а что же это за путешествие, в которое ушел Паустовский и которое суждено совершить всем нам, — и тем, кто в самом деле путешествовал всю жизнь, и тем, кто никогда не выходил дальше своего порога…

Первые стихи, первая любовь и первое путешествие…

Днепрострой,

Магнитка,

Балтика…

Волнения первой книги, первая речь перед писателями на конференции в той же самой аудитории, где прежде не раз гремел Маяковский…

Не для того ли все это было, чтобы постепенно отпал тот, прежний человек? А как сильно хотел он — весь — не отстать, расти заодно со страной!

Молодость?

Любовь и любознательность?

А, может, просто любопытство?

Но было же все это, было! Все даты были, мы писали их от руки…

Будущее предвидится только потому, что было прошлое. Соки жизни совершают свое неудержимое обращение. Совершается это и в тебе: другая кровь, другая кожа, другие вкусы и мысли. Вчерашние тревоги отступают перед новыми чувствами. Каждый новый день — день, но он другой: то, что было вчера, ушло в потоке жизни. В тебе самом и вокруг тебя вскипает уже иное, сохраняющее от прошлого лишь то, что утвердилось или поручено памяти. Мы теперь уже знаем тайну памяти, это уже не тайна, однако по-прежнему хорошо, если о ней говорят, как в народе — светлая память. Ведь это и есть оценка свершений, дел — и радующих, воодушевляющих и скорбных. В этом смысле ничего не проходит, как никогда не пройдет искусство. Оно не пройдет никогда, потому что без него, без его оценок добра и зла, хорошего и отвратительного мы не увидим ни себя самих, ни своего будущего. А ну-ка отвернись! — не удастся: искусство — связь и обещание.

И в этом и есть, должно быть, смысл ***твоего*** *прошлого* ***для тебя же****: ты убеждаешься,* ***что все*** *в движении, в смене одного другим. Меняются клетки, меняются народы. Все меняется. Неизменны лишь источники этой самой жизни, и в тебе — желание порядка и разума, в беспрерывной борьбе добра со злом.*

Добрая воля к взаимопониманию остается самой большой ценностью, как в музыке, по ее законам согласия

и единомыслия. Все — музыка. Все — жизнь. Если есть это, то есть добрая воля, сохраняется и многое другое — и прежде всего сознание своей сущности. Оказывается, чтобы видеть себя, нужно видеть много. Вот в чем дело!

Но вот что понял я притом же: кто глух к жизни вокруг себя — в домашней обыденности — не видит ни луча, упавшего на стену, ни выражения глаз у близкого человека, у старого отца, у соседа, не слышит утренней тишины — тот не увидит ничего ни на грандиозной волжской ГЭС, ни на океанском лайнере.

Именно эта способность в ее высокой степени и делает человека художником, и она ведет к наблюдениям такой значительности, как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему».

Разумеется, такая мера таланта дана не каждому, но развивать в себе хорошие задатки — одна из обязанностей каждого человека.

Поэтому и говорят нам:

— Учитесь видеть и чувствовать! Учитесь читать книги! Идите в плавание, путешествуйте!